

Бартек-победитель. Генрик Сенкевич

I

Героя моего звали Бартек Словик, но за его привычку таращить глаза, когда с ним разговаривали, соседи называли его Бартеком Лупоглазым. С соловьем у него действительно было мало общего, зато его умственные способности и поистине гомерическая наивность снискали ему прозвище: Глупый Бартек. Это прозвище было самым популярным, и, вероятно, именно оно войдет в историю, хотя у Бартека было еще и четвертое – официальное. Так как слова: «человек» и «словик» звучат для немецкого уха почти одинаково, а немцы любят, во имя цивилизации, переводить варварские славянские названия на более культурный язык, то в свое время, при составлении воинских списков, произошел следующий диалог:

– Как тебя зовут? – спросил у Бартека офицер.

– Словик.

– Шлоик? Ach, ja, gut[1].

И офицер записал: «Mensch»[2].

Бартек был родом из деревни Гнетове; подобные названия деревень очень распространены в княжестве Познанском и других землях бывшей Речи Посполитой. Кроме земли, хаты и двух коров, были у него еще пегая лошадь и жена Магда. Благодаря такому стечению обстоятельств он мог жить спокойно, согласно с мудростью, заключавшейся в строках:

Конь мой пегий, женка Магда,  
Что захочет бог, и так даст!

И в самом деле, жизнь его складывалась именно так, как хотел бог, но когда бог дал войну, Бартек огорчился не на шутку. Прислали ему уведомление – явиться на военную службу. Нужно было бросать хату, землю и все отдать на бабье попечение. Народ в Гнетове был большей частью бедный. Бартек зимой, бывало, ходил на фабрику и этим поддерживал хозяйство, а теперь что? Кто знает, когда кончится война с французом? Магда как прочла повестку, так и принялась ругаться:

– Ах, чтоб им пусто было! Чтоб они ослепли! Хоть ты и дурак... да мне-то тебя жалко; французы тебе спуску не дадут; либо голову снесут, либо еще что!..

Бартек чувствовал, что баба говорит правильно. Французов он боялся, как огня, и у него тоже щемило сердце. Что ему сделали французы? Зачем, почему ему идти туда, на эту страшную чужбину, где нет ни одной доброй души? Когда сидишь в Гнетове, кажется: ни так ни этак, одним словом, как всегда, а как велят идти, тут сразу поймешь, что дома лучше, чем где бы то ни было. Да уж теперь ничем не поможешь – такая судьба, нужно идти! Бартек обнял бабу, потом десятилетнего Франека, потом сплюнул, перекрестился и пошел из хаты, а Магда – за ним. Простились они без особых нежностей. Она и мальчишка плакали, а он повторял: «Ну, будет, будет!» – и так вышли на дорогу. Тут только они увидели, что во всем Гнетове творится то же, что и у них. Вся деревня высыпала: дорога так и запружена призванными. Мужчины идут на железнодорожную станцию, а бабы, дети, старики и собаки их провожают. Тяжело на душе у рекрутов, только у тех, кто помоложе, торчат трубки в зубах; для начала есть уже пьяные, некоторые хриплыми голосами поют:

Рученьке Сквицецкого с ясным перстеньком  
Не взмахнуть уж сабелькой пред своим полком!  
Кое-кто из немцев – гнетовских колонистов – со страху затаил «Wacht am Rhein». Вся эта пестрая разношерстная толпа, среди которой поблескивают штыки жандармов, с шумом и гамом выходит за околицу. Бабы обнимают своих «солдатишек» за шею и причитают; какая-то старуха показывает свой единственный желтый зуб и грозит кулаком в пространство. Другие проклинают: «Пусть же вам бог отплатит за наши слезы!» Слышны крики: «Франек! Казька! Юзек! Прощайте!» Лают собаки, звонят колокола в костеле Ксендз читает отходную. Ведь многие из тех, что идут сейчас на станцию, не вернутся домой. Война забирает всех, но не всех отдает назад. Заржавеют плуги на полях, ибо Гнетово объявило войну Франции Гнетово не могло примириться с возрастающим влиянием Наполеона III и приняло близко к сердцу вопрос об испанском престоле. Колокольный звон провожает толпу, растянувшуюся по дороге. Вот и распятие, – шапки и каски срываются с голов. Золотистая пыль поднимается на дороге: день стоит сухой и ясный. По обеим сторонам дороги шелестят созревающие хлеба, время от времени легкий ветерок пролетает над полями и колышет тяжелые колосья. В голубом небе парят жаворонки и в самозабвении заливаются песнями.

Станция! Толпа еще больше. Тут уже рекруты из Верхней Кривды, из Нижней Кривды, из Вывлащинец, из Недоли, из Убогова. Шум, крики, суматоха! Стены на станции облеплены манифестами. Здесь война «во имя бога и отечества». Ополченцы пойдут защищать свои семьи, жен, детей, хаты и поля, которым грозит враг. Видно, французы особенно ожесточились на Гнетово, на Верхнюю Кривду и Нижнюю Кривду, на Вывлащинец, Недолю и Убогово. Так по крайней мере кажется тем, кто читает афиши. К станции прибывают все новые и новые толпы. Дым от трубок наполняет зал и заволакивает афиши. Шум стоит такой, что трудно что-нибудь понять; все бегают, зовут, кричат. С перрона доносится немецкая команда; резкие слова ее звучат отрывисто, твердо, решительно.

Раздается звонок, потом свисток. Издали слышно шумное дыханье паровоза. Все ближе, все явственнее, чудится, будто это приближается война.

Второй звонок! Дрожь пробегает по спинам. Какая-то баба кричит: «Едом! Едом!» Так она зовет своего Адама, но другие бабы подхватывают это слово и кричат: «Едут!» Чей-то особенно пронзительный голос добавляет: «Французы едут!», и в одно мгновение паника охватывает не только баб, но и будущих героев Седана. Толпа мечется. Тем временем поезд останавливается на станции Во всех окнах – фуражки с красными околышами и мундиры. Солдат – как муравьев в муравейнике. На угольных платформах чернеют мрачные орудия с длинными стволами. Открытые платформы оцетинились целым лесом штыков. Солдатам, верно, приказали петь, так как весь поезд содрогается от сильных мужских голосов. Силой и мощью веет от этого поезда, которому конца не видно.

Но вот рекрутам приказывают строиться; кто может, еще раз прощается; Бартек взмахнул ручищами, как мельничными крыльями, и вытаращил глаза:

– Ну. Магда! Прощай!

– О! Бедный мой муженек!

– Не увидишь ты меня больше!

– Ох! Не увижу!

– Ничего не пожелаешь?

– Сохрани тебя мать божья и помилуй...

– Прощай; смотри за хатой.

Баба с плачем обхватила его шею руками.

– Да хранит тебя бог!

Наступает последняя минута. Визг, плач и причитанья баб на время заглушают все. «Прощайте! Прощайте!» Но вот солдаты уже отделены от беспорядочной толпы, вот они уже образуют черную плотную массу, которая формируется в квадраты, прямоугольники и начинает двигаться с точностью и четкостью машин. Команда: «Садись!» Квадраты и прямоугольники ломаются посередине, вытягиваются длинными лентами по направлению к вагонам и исчезают в их глубине. Вдали свистит паровоз и выбрасывает клубы серого дыма. Теперь он дышит, как дракон, извергая струи пара. Причитания баб переходят в один сплошной вопль. Одни закрывают глаза фартуками, другие протягивают руки к вагонам. Рыдающими голосами выкликают они имена мужей и сыновей.

– Прощай, Бартек! – кричит снизу Магда. – Да не лезь, куда не пошлют. Божья мать храни тебя... Прощай! О господи!

– А за хатой смотри, – отвечает Бартек.

Внезапно цепь вагонов дрогнула; они стукнулись друг о друга – и тронулись.

– Помни, что у тебя жена и ребенок, – кричала Магда вслед уходившему поезду. – Прощай! Во имя отца и сына и святого духа! Прощай!..

Поезд шел все быстрее, увозя воинов из Гнетова, из обеих Кривд, из Недоли и из Убогова.

## II

В одну сторону плетется в Гнетово Магда с толпой баб и плачет, а в другую сторону – в серую даль – несется поезд, ошестившийся штыками. И в нем Бартек. Серой дали конца не видно Гнетово тоже едва разглядишь, только вдали зеленеет липа да золотится шпиль колокольни, на котором играет солнце. Вскоре расплылась и липа, а золотой крест стал казаться блестящей точкой. Пока светила эта точка, Бартек смотрел на нее, но когда и она исчезла, совсем загоревал мужик. Страшная тоска охватила его, он почувствовал, что пропал. Тогда он стал смотреть на унтер офицера, потому что после бога не было над ним большей власти. Что с ним теперь ни случится, за все отвечает капрал, а сам Бартек теперь ничего не знает и ничего не понимает. Капрал сидит на лавке и, зажав коленями ружье, курит трубку. Дым поминутно застилает тучей его хмурое и сердитое лицо. Но не только Бартек смотрит на это лицо, на него смотрят все глаза из всех углов вагона. В Гнетове или в Кривде всякий Бартек или Войтек сам себе хозяин, всякий должен думать о себе и за себя, ну а теперь на это есть капрал. Велит он смотреть направо – будут смотреть направо; велит налево – будут смотреть налево. Каждый спрашивает его взглядом: «Ну как? Что же с нами будет?» А он и сам знает столько же, сколько они, и был бы рад, если б какое-нибудь начальство дало ему соответствующий приказ или разъяснение. Мужики даже расспрашивать боятся, потому

что теперь война и всякие там военные суды. Что можно, чего нельзя неизвестно, во всяком случае им неизвестно, но их пугает самый звук таких слов, как «Kriegsgericht»[3], которых они даже хорошенько не понимают, отчего еще больше боятся.

В то же время они чувствуют, что этот капрал теперь им нужнее, чем на маневрах под Познанью, потому что он один все знает, за всех думает, а без него они – никуда. Между тем унтеру, должно быть, надоело держать ружье, он сунул его Бартеку. Бартек бережно его взял, затаил дыхание, выпучил глаза и уставился на капрала, как на икону, но легче ему от этого не стало.

Ох, должно быть, плохо дело, потому что и капрал как с креста снятый. На станциях – песни, крики; капрал командует, суетится, ругается, чтоб показать себя перед начальством; но как только поезд трогается, все затихают, затихает и он. Ему тоже мир теперь открылся с двух сторон: одна светлая и понятная – это его хата, жена и перина, другая темная, совсем темная – это Франция и война. Этот вояка, как и вся армия, охотно бы позаимствовал у рака его рачью повадку. Гнетовских солдат одушевлял тот же «воинственный» пыл. – это было очевидно, так как находился он не в глубине души, а тут же на спине: каждый тащил на ней ранец, шинель и прочее военное снаряжение – и всем было очень тяжело.

Тем временем поезд шипел, гудел и летел дальше. На каждой станции прицепляли новые вагоны и паровозы. На каждой станции только и можно было увидеть каски, пушки, лошадей, штыки пехотинцев и уланов. Наступал ясный вечер. Солнце разлилось огромным красным заревом, высоко в небе плыли стаи маленьких легких облачков с алевшими от заката контурами. Поезд, наконец, перестал забирать на станциях вагоны и людей и летел, сотрясаясь, все вперед, в эту багряную даль, словно в море крови. Из открытого вагона, где сидел Бартек с другими гнетовцами, видны были деревни, села, местечки, башенки костелов, аисты, стоявшие в гнездах на одной ноге, отдельные хаты, вишневые сады. Все это быстро мелькало, все было красное. Солдаты стали смелее перешептываться, потому что унтер-офицер, подложив сумку под голову, уснул с фарфоровой трубкой в зубах. Войцех Гвиздала, гнетовский мужик, сидевший рядом с Бартеком, толкнул его локтем:

– Слушай, Бартек...

Бартек повернул к нему лицо с задумчивыми, выпученными глазами.

– Что ты смотришь, как теленок, которого ведут на убой? – шептал Гвиздала. – Да ты, бедняга, и в самом деле идешь на убой, и наверняка...

– Ой, ой! – застонал Бартек.

– Боишься? – спросил Гвиздала.

– Да как же не бояться...

Заря стала еще краснее. Показывая на нее рукой, Гвиздала снова зашептал:

– Видишь ты этот свет? Знаешь, глупый, что это такое? Это кровь. Тут Польша, наша родина, значит... Понятно? А вон там вдалеке, где полыхает, это есть Франция...

– И скоро мы туда доедем?

– А тебе к спеху? Говорят: страсть как далеко, да ты не бойся, французы нас сами встретят...

Бартек стал усиленно работать своей гнетовской головой. Через минуту он спросил:

– Войтек!

– Чего тебе?

– А скажи на милость, что это за народ такой – французы?

Тут пред ученостью Войтека сразу раскрылась пропасть, в которую легче было провалиться с головой, чем вылезть назад. Он знал, что французы – это французы. Кое-что он слышал о них от стариков, – французы-де всегда и всех били; знал, наконец, что они чужаки, но как это растолковать Бартеку, чтобы и он понял, какие они чужие?

Прежде всего он повторил вопрос:

– Что это за народ?

– Ну, да.

Войтек знал три народа: в середине «поляки», по одну сторону «москали», по другую «немцы». Но немцы были разных сортов. И, предпочитая точности ясность, он сказал:

– Что за народ французы? Как тебе сказать, вроде немцев, только еще похуже...

А Бартек на это:

– Ах, стервы!

До этой минуты он питал к французам только одно чувство – чувство неопишуемого страха. Но лишь теперь этот прусский ополченец проникся к ним подлинной патриотической ненавистью. Однако он не все еще уразумел как следует и потому спросил опять:

– Так, значит, немцы будут с немцами воевать?

Тут Войтек, как второй Сократ, решил идти путём сравнений и ответил:

– А разве твой Лыска с моим Бурым не грызутся?

Бартек раскрыл рот и с минуту смотрел на своего учителя.

– А ведь верно.

– Вот и австрияки – те же немцы, – продолжал Войтек, – а разве наши с ними не дрались! Старик Сверц был на этой войне, так он рассказывал, что Штейнмец кричал им: «Ну, ребята, на немцев!» Только с французом не так-то легко.

– Боже ты мой!

– Француз ни одной войны не проиграл. Он как пристанет к тебе, уж у него не вывернешься, не беспокойся! А народ у них рослый – раза в два либо в три выше наших мужиков. Бороды они отращивают, как евреи. А некоторые черны, как черти. Такого как увидишь, молись богу...

– Ну, так чего ж мы на них идем? – спрашивает с отчаянием Бартек.

Это философское замечание было, может быть, не так уж глупо, как показалось Войтеку, который, очевидно под влиянием официальных внушений, поспешил ответить:

– И по-моему, лучше бы не идти. Да не пойдём мы, придут они. Ничего не поделаешь. Ты читал, что было напечатано? Пуще всего они ополчились против наших мужиков. Люди сказывают, они потому так зарятся на нашу землю, что хотят водку провозить контрабандой из Царства Польского, а правительство-то им не даёт – оттого и война. Теперь понял?

– Как не понять, – покорно ответил Бартек.

Войтек продолжал:

– А до баб они охотники, как пес до сала...

– Стало быть, к примеру сказать, они и Магду бы не пропустили?

– Да они и старухам спуску не дают!

– О! – воскликнул Бартек таким тоном, как будто хотел сказать: «Ну, ежели так, то у меня держись!»

Это ему показалось уж чересчур. Водку пусть себе возят из Польши, но насчет Магды – шалишь! Теперь мой Бартек стал смотреть на войну с точки зрения собственного интереса и почувствовал даже некоторое облегчение при мысли, что столько войск и орудий выступает в защиту Магды от этих охальников-французов. Кулаки у него невольно сжались, и к страху перед французами примешалась... ненависть к ним. Он пришел к убеждению, что тут уж ничего не поделаешь, нужно идти. Тем временем заря погасла. Стемнело. Вагон стало сильнее трясти на неровных рельсах, и в такт толчкам покачивались вправо и влево каски и штыки.

Прошел час, другой. Из паровоза летели миллионы искр и скрещивались в темноте огненными полосками и змейками. Бартек долго не мог заснуть. Как искры в воздухе, в голове его мелькали мысли о войне и о Магде, о Гнетове, французах и немцах. Ему казалось, что если бы он и захотел, все равно не мог бы подняться с лавки, на которой сидел. Наконец, он забылся в нездоровом полусне. И тотчас же на него толпой налетели видения: сначала он увидел, как его Лыска грызется с войтековым Бурым, так что шерсть летит клочьями. Он схватился было за палку, чтобы их разнять, но вдруг видит уже другое: сидит возле Магды француз, черный, как мать-земля, а Магда довольна – смеется, скалит зубы. Другие французы насмеются над Бартеком и показывают на него пальцами... Это, верно, паровоз тархтит, а ему кажется – французы кричат: «Магда! Магда! Магда! Магда!» Бартек орет: «Заткните глотки, разбойники, пустите бабу!» А они: «Магда! Магда! Магда!» Лыска с Бурым заливаются, все Гнетово кричит: «Не давай бабу!» А он... Связан он, что ли? Он ринулся, рванул, веревки лопнули, Бартек схватил француза за чуб я вдруг...

Вдруг он чувствует сильную боль, как будто его кто ударил изо всей мочи. Бартек просыпается и вскакивает на ноги. Весь вагон проснулся, все спрашивают, что случилось. Оказывается, бедняга Бартек во сне схватил за бороду унтер-офицера. Теперь он стоит, вытянувшись в струнку, и держит под козырек, а унтер размахивает руками и кричит, как бесноватый:

– Ach, Sie dummes Vieh aus der Polakej! Hau ich den Lummel in die Fresse, dass ihm die Zahne sektionen-weise aus dem Maul herausfliegen werden[4].

Унтер просто хрипит от бешенства, а Бартек все стоит, прижав пальцы к виску. Солдаты кусают губы, чтобы не рассмеяться, так как боятся унтер-офицера, с уст которого еще слетают последние громы:

– Ein polnischer Ochse! Ochse aus Podolien![5]

Наконец все стихает. Бартек садится на прежнее место. Он чувствует, что щеки его начинают пухнуть, а паровоз, как назло, твердит свое: «Магда! Магда! Магда!»

Бартеку становится очень тоскливо.

### III

Утро. Рассеянный бледный свет падает на сонные, измученные лица. На скамьях вповалку спят солдаты: одни – свесив голову на грудь, другие запрокинув назад. Встает заря и заливает розовым сиянием весь мир. Прохладно и свежо. Солдаты просыпаются. Лучезарное утро вырывает из тумана и мрака какую-то неведомую им страну! Эх! Где-то теперь Гнетово, где Большая и Малая Кривда, где Убогово? Тут уж чужбина и все по-другому. Кругом пригорки, поросшие дубняком; в долинах – дома, крытые красной черепицей с черными балками на белых стенах, увитых виноградом, – красивые, как господские усадьбы. Кое-где костелы с остроконечными колокольнями, кое-где высокие фабричные трубы с клубами розового дыма. Только как-то тесно здесь, нет простора, шири полей. Зато народ кишмя кишит, как в муравейнике, то и дело мелькают деревни и города. Поезд, не останавливаясь, пронесется мимо множества маленьких станций. Должно быть, что-то случилось: повсюду толпы. Солнце медленно выходит из-за гор, и мужики один за другим начинают вслух молиться. Их примеру следуют остальные; первые лучи солнца освещают мужицкие молитвенно сосредоточенные лица.

Тем временем поезд останавливается на большой станции. Тотчас его окружает толпа народу: получены с поля сражения вести. Победа! Победа! Деша пришла несколько часов назад. Все ждали поражения, а когда их разбудили хорошей вестью, радости не было конца. Вскочив с постели, полуодетые люди выбегали из домов и спешили на станцию. Кое-где на крышах уже развеваются флаги, все машут платками. В вагоны приносят пиво, табак, сигары. Возбуждение неопишное, лица сияют. «Wacht am Rhein» – словно буря ревет. Все плачут, обнимаются от радости. Unser[6] Фриц разбил врага наголову! Взяты орудия, знамена! В порыве великодушия толпа отдает солдатам все, что у нее есть. Солдаты подбадриваются и тоже начинают петь. Вагоны содрогаются от сильных мужских голосов, а толпа с удивлением слушает непонятные слова песни. Гнетовцы поют: «Бартек, ты мой Бартек, ох, не теряй надежды!» «Die Polen, die Polen!»[7], – как бы поясняя, повторяет толпа и теснится к вагонам, восторгаясь осанкой солдат и поддерживая собственное веселье анекдотами о невероятной храбрости этих польских полков.

Щеки у Бартека распухли, что при его рыжих усах, выпученных глазах и огромной костлявой фигуре делает его особенно страшным. На него глядят как на редкостного

зверя. «Вот какие защитники у немцев! Уж этот задаст французам!» Бартек довольно ухмыляется: он тоже рад, что французов поколотили. Теперь по крайней мере не придут они в Гнетово, не собьют с толку Магду, не заберут его землю. Бартек улыбается, но тогда лицо у него еще сильнее болит; он морщится от боли и кажется действительно страшным. Зато ест он с аппетитом гомеровского героя. Гороховая колбаса и кружки пива исчезают в его глотке, как в пропасти. Ему дают сигары, пфенниги – он все берет.

– А ничего, добрый народ, эта немчура, – говорит он Войтеку я через минуту прибавляет: – А французов-то, вот видишь, побили!

Однако скептический Войтек омрачает его радость. Войтек прорицает, как Кассандра:

– Французы всегда так: наперед дадут себя поколотить, чтобы сбить с толку, а потом как возьмутся, так только щепки полетят.

Войтек не знает ни того, что его мнение разделяет добрая половина Европы, ни тем более того, что вся Европа ошибается вместе с ним.

Едут дальше. Все дома, насколько хватает глаз, увешаны флагами. На некоторых станциях гнетовцы долго простаивают, потому что везде полно поездов. Войска со всех сторон немецкой земли спешат на подмогу своим победоносным братьям. Поезда украшены зелеными ветками. Уланы насаживают на пики букеты цветов, которые им поднесли по дороге. Большинство уланов поляки. Слышно, как они громко переговариваются в вагонах, окликают друг друга.

– Как живете, братки? Куда бог несет?

А то из поезда, несущегося по соседним путям, грянет знакомая песня:

В Сандомире с краю хата,  
Кличет панночка солдата...

Тогда Бартек с товарищами подхватывает на лету:

«Не зайдешь ли на часочек?

Я не съем тебя, дружочек».

Насколько все тосковали, уезжая из Гнетова, настолько теперь преисполнились бодрости и воодушевления. Однако первый поезд, прибывший из Франции с первыми ранеными, сразу портит настроение. Он останавливается в Дейце и долго стоит, пропуская тех, что спешат на поле битвы. Но чтобы всем перебраться через кельнский мост, нужно несколько часов. Бартек бежит вместе с другими поглядеть на больных и раненых. Одни едут в закрытых вагонах, другим не хватило места, и они лежат в открытых; этих хорошо видно. При первом же взгляде на них геройский дух Бартека улетучивается.

– Войтек, поди сюда! – кричит он в ужасе. – Смотри, сколько народу француз перепортил!

И в самом деле, есть на что посмотреть! Лица измучены и бледны; многие почернели от пороха или боли, залиты кровью. На возгласы всеобщей радости они отвечают лишь стонами. Иные проклинаят войну, французов и немцев. Запекшиеся, почерневшие губы поминутно просят воды; воспаленные глаза почти безумны. И тут же, среди раненых, застывшие лица умирающих – иногда спокойные, с синими кругами у глаз,



иногда искаженные судорогой, с испуганными глазами и оскаленными зубами. Бартек впервые видит кровавые плоды войны. В голове его снова все путается; он стоит в толпе, разинув рот, и смотрит как одурелый; его толкают со всех сторон, наконец жандарм дает ему прикладом по шее. Бартек ищет глазами Войтека и, найдя его, говорит:

– Войтек! Да что же это, боже!

– Так будет и с тобой.

– Господи Иисусе, пресвятая богородица! И как же это люди убивают друг друга! Да если какой мужик поколотит другого, жандарм потащит его в суд, а там ему нагорит!

– Ну, а теперь тот выходит лучше, кто больше народу перепортит. А ты, дурак, думал, здесь будут холостыми зарядами стрелять, как на маневрах, или по мишеням, а не по живым людям?

Тут сразу сказала разница между теорией и практикой. Наш Бартек ведь был солдатом, ходил на маневры и ученья, стрелял сам и знал, что для того и война, чтобы людей убивать, но теперь, когда он увидел кровь раненых и ощутил ужас войны, ему стало так нехорошо, так тошно, что он едва на ногах устоял. И он снова проникся уважением к французам, уважением, которое уменьшилось, лишь когда они добрались из Дейца в Кельн. На центральном вокзале они увидели первых пленных. Их окружала огромная толпа, народ и солдаты смотрели на пленных – с гордостью, но еще без ненависти. Пробивая себе дорогу локтями, Бартек протиснулся вперед, взглянул на вагон и изумился.

В вагоне, как сельдей в бочке, набилось французских пехотинцев маленьких, тощих, грязных, в рваных шинелях. Многие протягивали руки за скудным подаванием, которым их оделяла толпа, поскольку стража этому не препятствовала. Бартек со слов Войтека составил себе о них совсем другое представление. Душа его покинула пятки и вернулась на свое место. Он оглянулся, нет ли поблизости Войтека. Войтек стоял рядом

– Что же ты говорил? – спросил Бартек. – Да это заморыши какие-то: дашь одному раз, а четверо повалятся.

– Да, что-то помельчали, – отвечал тоже разочарованный Войтек.

– А по-каковски они лопочут?

– Да уж не по-польски.

Успокоенный в этом отношении, Бартек пошел дальше вдоль вагонов.

– Сплошь голытьба! – сказал он, окончив смотреть линейных войск.

Но в следующих вагонах сидели зуавы. Они-то заставили Бартека призадуматься. Сидели они в закрытых вагонах, так что нельзя было удостовериться, в самом ли деле они вдвое или даже втрое выше, чем обыкновенные люди. В окна видны были только длинные бороды и угрюмые темные лица старых солдат с грозно сверкающими глазами. Душа Бартека снова направилась в пятки.

- Эти пострашнее, – тихо шепнул он, словно боясь, что его услышат.
- Ты еще не видел тех, что не сдались в плен, – сказал Войтек
- Господи боже ты мой!
- Еще увидишь!

Насмотревшись на зуавов, они пошли дальше. Но вот от следующего вагона Бартек отскочил, как ошпаренный.

- Караул! Войтек, спасай!

В открытое окно было видно темное, почти черное лицо тюркоса с белыми закатившимися глазами. Должно быть, он был ранен, так как лицо его было искажено страданием

- Ну что? – говорит Войтек
- Да это черт, а не солдат! Боже, смилуйся надо мной, грешным!
- Ты погляди, какие у него зубищи!
- Да провались он совсем! Не стану я на него смотреть!

Бартек умолк, но через минуту спросил:

- Войтек!
- Чего?
- А что, если такого да перекрестить, – не поможет?
- Язычники нашей святой веры не понимают.

Но вот сигнал садиться. Через минуту поезд трогается. Когда стемнело, Бартек все видел перед собой черное лицо тюркоса и страшные белки его глаз. Чувства, волновавшие в этот момент гнетовского воина, не предвещали его будущих подвигов.

#### IV

Генеральное сражение под Гравелоттом, в котором Бартеку вскоре пришлось участвовать, убедило его лишь в том, что в бою есть на что глазеть, но делать там нечего. Сначала ему и его полку было приказано стоять с ружьем к ноге у подошвы холма, покрытого виноградниками. Вдали гремели пушки, вблизи проносились конные полки с топотом, от которого содрогалась земля, мелькали то уланские флажки, то кирасирские палаши. Над холмом в голубом небе с шипением пролетали гранаты, словно белые облачка; потом дым наполнил воздух и застлал горизонт. Казалось, бой, как гроза, проходит стороной, но это продолжалось недолго.

Спустя некоторое время вокруг полка Бартека началось какое-то странное движение. Возле него стали строиться другие полки, а в интервалы между ними подвозили орудия, моментально выпрягали и поворачивали жерлами к холму. Вся долина заполнилась войсками. Теперь со всех сторон гремит команда, скачут адъютанты. А наши рядовые перешептываются: «Ох, и достанется же нам!», либо с тревогой

спрашивают друг друга: «Скоро, что ли, начнется?» – «Верно, скоро».

Приближается что-то неведомое, таинственное, может быть смерть... В дыму, застилающем холм, что-то страшно кипит и бурлит. Все ближе слышатся гулкой рев пушек и ружейный треск огня. Издалека доносится какой-то неясный грохот: это картечь. Вдруг грянули только что поставленные орудия – и разом содрогнулись воздух и земля. Над полком Бартека что-то зашипело. Смотрят летит не то роза, не то тучка, а тучка эта шипит и хохочет, скрежещет, воеет и ржет. Поднимается крик: «Граната! Граната!» Как вихрь, летит эта птица войны все ближе, вдруг падает, разрывается! Раздается оглушительный треск, грохот, как будто мир рушится и проносится вихрь, словно внезапно налетела буря. В рядах, стоявших ближе к орудиям, замешательство, слышится команда: «Сомкнись!» Бартек стоит в первой шеренге с оружием на плече, голова у него задрана кверху, воротник подпирает подбородок, поэтому зубы не стучат. Нельзя ни шелохнуться, ни выстрелить. Стой! Смирно! А тут летит вторая граната, третья, четвертая, десятая! Вихрь рассеивает дым с холма, французы уже согнали с него прусские батареи, поставили свои и теперь поливают огнем долину. Поминутно из виноградников вылетают длинные белые ленты дыма. Пехота под прикрытием орудий спускается еще ниже, чтобы открыть ружейный огонь. Вот они уже на середине холма. Теперь их отчетливо видно, потому что ветер относит дым. Что это, виноград зацвел маком? Нет, это красные шапки пехотинцев. Внезапно они исчезают в высоких виноградных лозах; их совсем не видно, лишь кое-где развеваются трехцветные знамена. Вдруг одновременно в разных местах вспыхивает ружейный огонь – частый, лихорадочный, неравномерный. Над этим огнем непрерывно завывают гранаты, скреживаясь в воздухе. На холме время от времени раздаются крики, им отвечает снизу немецкое «ура». Пушки в долине непрерывно изрыгают огонь. Полк стоит непоколебимо.

Однако огонь уже окружает и его. Пули жужжат, как мухи или слепни, и со страшным свистом пролетают вблизи. Их все больше: вот уже свистят мимо уха, носа, мелькают перед глазами; их тысячи, миллионы. Странно, что еще кто-то стоит на ногах. Вдруг возле Бартека раздается стон: «Господи Иисусе!», потом: «Сомкнись!», опять: «Иисусе!» – «Сомкнись!» Наконец, все сливается в один непрерывный стон, ряды сдвигаются все тесней, команда становится все поспешней, свист все продолжительнее, непрерывнее, ужаснее. Убитых вытаскивают за ноги. Страшный суд!

– Боишься? – спрашивает Войтек.

– Еще бы не бояться, – отвечает наш герой, щелкая зубами.

Однако оба стоят – и Бартек и Войтек, – им даже в голову не приходит, что можно убежать. Приказано стоять – ну и стой! Бартек лжет. Он не так боится, как боялись бы тысячи на его месте. Дисциплина подавляет его воображение, и оно не в силах нарисовать ему весь ужас действительного положения. Тем не менее Бартек полагает, что его убьют, и делится этой мыслью с Войтеком.

– Небо не прохудеет, если одного дурака убьют! – сердито отвечает Войтек.

Эти слова заметно успокаивают Бартека. Можно подумать, что самое важное для него было знать, продырявится небо или нет. Успокоенный в этом отношении, он терпеливо продолжает стоять, хотя очень жарко и пот течет по его лицу. Между тем огонь становится таким ужасным, что ряды тают на глазах: убитых и раненых уже некому вытаскивать. Хрипенье умирающих сливается со свистом снарядов и грохотом выстрелов. По движению трехцветных знамен видно, что пехота, скрытая

виноградниками, придвигается все ближе и ближе. Картечь летит тучей, опустошая ряды. Людей охватывает отчаяние.

Но в этом отчаянии слышится ропот нетерпенья и бешенства. Если бы им приказали идти вперед, они ринулись бы как буря. Им уже не стоит на месте. Какой-то солдат, сорвав с головы фуражку, изо всей силы швыряет ее оземь:

– Эх! Двум смертям не бывать!

При этих словах Бартек испытывает такое облегчение, что почти перестает бояться. Раз двум смертям не бывать, то, собственно говоря, о чем тут особенно беспокоиться? Эта мужицкая философия лучше всякой другой, так как придает бодрости человеку Бартек и прежде знал эту истину, но ему приятно было ее еще раз услышать, тем более что битва стала превращаться в побоище. Вот полк, не сделавший ни одного выстрела, уже наполовину уничтожен. Солдаты из других разбитых полков бегут беспорядочными толпами, – и только они, эти мужики из Гнетова, Большой Кривды, Малой Кривды и Убогова, сдерживаемые железной прусской дисциплиной, еще стоят. Но в их рядах уже чувствуется некоторое колебание. Еще минута, и оковы дисциплины порвутся. Земля под ногами становится мягкой и скользкой от крови, и ее сырой запах смешивается с удушливым запахом гари. Местами ряды уже не могут сомкнуться; им мешают горы трупов. У ног людей, которые еще стоят, лежат другие люди – в крови, в предсмертных судорогах или безмолвии смерти. Груды не хватает воздуха. В рядах поднимается ропот:

– На бойню привели!

– Никто живым не уйдет!

– Still, polnisches Vieh![8] – отозвался голос офицера.

– Тебе-то хорошо за моей спиной...

– Steht der Kerl da![9]

Вдруг раздается чей-то голос:

– Под твою защиту...

А Бартек подхватывает:

– Отдаем себя, пресвятая богородица!

И вскоре хор польских голосов уже взывает к Ченстоховской божьей матери:

– Моления наши не отвергни!..

А из-под ног им вторят стоны: «О Мария! Мария!» И мать божия, верно, услышала их, потому что в ту же минуту на взмыленном коне подлетел адъютант. Раздается команда: «В атаку! Ура! Вперед!» Гребень штыков внезапно опускается, ряды вытягиваются в длинную линию и бросаются к холму искать штыками врагов, которых не могли найти глаза. Однако от подошвы холма наших героев отделяет не менее двухсот шагов, и это расстояние нужно преодолеть под убийственным огнем... Не погибнут ли они все до одного, не побегут ли вспять? Погибнуть они могут, но отступить не станут: пруссаки знают, что нужно играть этим польским мужикам во

время атаки. Среди грохота орудий и ружейного огня, среди дыма, сумятицы и стонов громче труб и рожков несется в небо гимн, от звуков которого каждая капля крови так и бурлит в их груди. «Ура! – отвечают Матеки. – Пока мы живем»[10]. Их охватывает воинственный пыл, лица их горят. Они несутся, как буря, по грудам человеческих и конских трупов, через горы разбитых пушек, гибнут, но идут вперед с криком и пением. Вот они уже добежали до виноградников и скрылись в их зелени. Только песня гремит да изредка блеснет штык. Вверху огонь бушует все сильнее. А внизу продолжают играть рожки. Залпы французов становятся все чаще, все лихорадочней, как вдруг...

Вдруг все смолкает.

Тогда внизу старый боевой волк Штейнмец закуривает фарфоровую трубку и говорит довольным тоном:

– Им только это заиграй! Дошли молодцы!

Через несколько минут одно из гордо развевавшихся трехцветных знамен подпрыгивает кверху, потом склоняется и падает...

– Эти не шутят! – говорит Штейнмец. Трубы снова играют тот же самый гимн. Второй познанский полк идет на подмогу первому.

В виноградниках – штыковой бой.

А теперь, Муза, воспой моего Бартека, чтоб узнали потомки о его подвигах. Страх, нетерпение, отчаяние слились в его сердце в одно чувство бешенства, а когда он услышал гимн, каждая жилка в нем напряглась, как железная проволока. Волосы у него стали дыбом, перед глазами замелькали искры. Он забыл обо всем на свете, забыл даже, что «двум смертям не бывать», и, схватив ружье могучими ручищами, бросился вместе с другими вперед. На бегу он раз десять спотыкался, разбил себе нос измазавшись весь землей и кровью, которая текла у него из носа, и, взбешенный, снова побежал вперед, ловя воздух раскрытым ртом. Он тарачил глаза, чтоб увидеть в зелени хоть одного француза, как вдруг увидел сразу троих возле знамени. Это были туркосы. Вы думаете, Бартек отступил? Нет! Теперь он бы и самого сатану схватил за рога! Он ринулся к ним; турки с воем бросились на него; два штыка, как два жала, вот-вот вонзятся ему в грудь, но тут мой Бартек как схватит ружье за ствол, словно шкворень, да как махнет раз, да еще раз... Только страшный крик раздался в ответ – и два черных тела в судорогах упали на землю.

Тогда к третьему, что держал знамя, подбежало на помощь с десятков туркосов. Бартек, как фурия, бросился сразу на всех. Они выстрелили – что-то блеснуло, грохнуло, и в ту же минуту в клубах дыма заревел хриплый голос Бартека:

– Дали маху!

И опять его ружье описало страшный круг, и опять в ответ послышались вопли. Туркосы в ужасе попятились при виде этого ошалевшего от бешенства великана, и, то ли это послышалось Бартеку, то ли они что-то кричали по-арабски, только ему показалось, что из их широких ртов вылетал крик:

– Магда! Магда!

– А, Магды вам захотелось! – завыл Бартек и одним прыжком очутился среди врагов.

К счастью, в эту минуту подоспели к нему на помощь Матеки, Войтеки и другие Бартеки. В винограднике завязался рукопашный бой, которому вторили треск ружей в свистящее дыхание сражающихся. Бартек бушевал, как ураган. Закопченный дымом, залитый кровью, похожий скорее на зверя, чем на человека, он, не помня себя, каждым ударом валил людей, ломал ружья, проламывал головы. Руки его двигались со страшной быстротой машины, сеющей гибель. Добравшись до знаменосца, он схватил его своими железными пальцами за горло. У знаменосца глаза вылезли на лоб, побагровело лицо, он захрипел и выпустил из рук древко.

– Ура! – крикнул Бартек и, подняв знамя, замахал им в воздухе.

Вот это-то подымающееся и опускающееся знамя видел снизу генерал Штейнмец.

Но мог он его видеть лишь одно мгновение, потому что уже в следующее Бартек этим самым знаменем раскроил чью-то голову в кепи с золотым шнурком.

Тем временем его товарищи бросились вперед.

Бартек на минуту остался один. Он сорвал знамя, спрятал его за пазуху и, схватив обеими руками древко, побежал вслед за своими.

Толпы тюркосов с диким воем бросились к орудиям, стоявшим на вершине холма, а за ними с криком бежали Матеки и, догнав, били их прикладами и штыками.

Зуавы, стоявшие у орудий, встретили тех и других ружейным огнем.

– Ура! – крикнул Бартек.

Мужики добежали до пушек. Возле них снова завязался рукопашный бой. В эту минуту на помощь первому подоспел второй познанский полк. Древко знамени в могучих ручищах Бартека превратилось в какой-то адский цеп. Каждый удар его расчищал широкую дорогу в сомкнутых рядах врага. Ужас охватил тюркосов и зуавов. Там, где дрался Бартек, они отступали. Через минуту Бартек сидел на пушке, как на гнетовской кобыле.

Но не успели солдаты заметить, что он взобрался на нее, как он уже оседлал вторую и свалил возле нее другого знаменосца.

– Ура, Бартек! – крикнули солдаты.

Победа была полная. Мужики захватили все орудия. Французская пехота бежала, но по другую сторону холма снова наткнулась на прусский отряд и сложила оружие.

Однако Бартек, преследуя противника, захватил и третье знамя. Надо было его видеть, когда он, усталый, облитый потом и кровью, пыхтя, как кузнечный мех, спускался вместе с другими с холма, неся на плечах три французских знамени. Французы! Тьфу! Плевать ему на них! Рядом с Бартеком шел исцарапанный, весь в ссадинах Войтек. Бартек сказал ему:

– Что ж ты болтал? Да это же дрянь просто: у них и силы-то никакой нет. Поцарапали нас с тобой, как котята, – вот и все. А их – чуть когохватишь, глядь – из него уж и дух вон.

– Кто ж тебя знал, что ты такой вояка, – ответил Войтек, которого подвиги Бартека заставили смотреть на него другими глазами.

Но кто же не замечал этих подвигов! История, весь полк и большая часть офицеров с удивлен нем смотрели на этого огромного мужика с жидкими рыжими усами и вытаращенными глазами. «Ach Sie verfluchter Polacke!»[11] – сказал ему сам майор и дернул его за ухо, а Бартек от радости осклабился во весь рот. Когда полк снова выстроился у подошвы холма, майор показал его полковнику, а полковник – самому Штейнмецу.

Тот осмотрел знамена и велел их спрятать, а потом принялся разглядывать Бартека. Наш Бартек снова стоит, вытянувшись в струнку, и держит ружье на-караул, а старый генерал смотрит на него и с удовольствием качает головой. Наконец, он что-то говорит полковнику. Отчетливо слышно слово: «унтер-офицер».

– Zu dumm, Excellenz![12] – отвечает майор.

– А вот увидим, – говорит его превосходительство и, повернув коня, подъезжает к Бартеку.

Бартек уже и сам не знает, что с ним делается. Вещь неслыханная в прусской армии: генерал разговаривает с рядовым! Его превосходительству это тем легче, что он умеет говорить по-польски. К тому же этот рядовой захватил три знамени и две пушки. – Ты откуда? – спрашивает генерал.

– Из Гнетова, – отвечает Бартек.

– Хорошо. Как тебя зовут?

– Бартек Словик.

– Менш, – переводит майор.

– Менс! – повторяет Бартек.

– А ты знаешь, за что бьешь французов?

– Знаю, вашство...

– Скажи!

Бартек, заикаясь, бормочет: «За... за...» – и замолкает. К счастью, ему вдруг приходят на память слова Войтека, и он, чтобы не сбиться, быстро выпаливает:

– За то, что они такие же немцы, только еще похуже, и стервы!

Старое лицо его превосходительства начинает подергиваться, словно его превосходительство сейчас изволит расхохотаться. Однако через минуту его превосходительство обращается к майору и говорит:

– Вы были правы.

Мой Бартек, довольный собою, браво стоит навтыжку.

– Кто выиграл сегодня сражение? – снова спрашивает генерал.

– Я, вашство, – без малейшего колебания отвечает Бартек.

Лицо генерала снова подергивается.

– Правильно, правильно, ты! Ну, вот тебе награда...

Тут старый воин откалывает железный крест со своей груди, затем нагибается и прикалывает его к груди Бартека. Веселое настроение генерала передается по рангу полковнику, майорам, капитанам и так вплоть до унтер-офицеров. После отъезда генерала полковник со своей стороны дает Бартеку десять талеров, майор – пять и так далее. Все, смеясь, повторяют, что это он выиграл битву, вследствие чего Бартек чувствует себя на седьмом небе.

Странное дело. Один только Войтек не особенно доволен нашим героем.

Вечером, когда они оба сидят у костра и рот Бартека так же плотно набит колбасой, как сама колбаса горохом, Войтек говорит с укором:

– И глуп же ты, Бартек. Ох, как глуп!..

– А что? – прожевывая колбасу, мычит Бартек.

– Что ж ты, голова, наболтал генералу про французов, что они немцы?

– Да ведь ты сам говорил...

– Должен ведь ты понимать, что генерал и офицеры тоже немцы.

– Ну так что ж?

Войтек пришел в замешательство.

– А то, что раз они немцы, то не нужно им этого говорить, все-таки это нехорошо...

– Да ведь я про французов сказал, а не про них.

– Эх, да ведь когда...

Войтек вдруг оборвал свою речь. По-видимому, он хотел сказать что-то совсем другое: хотел объяснить Бартеку, что нельзя плохо отзываться о немцах при немцах, но у него запутался язык.

V

Немного времени спустя королевская прусская почта привезла в Гнетово следующее письмо:

«Да славится имя господа нашего Христа и его пречистой матери! Дражайшая Магда! Что у тебя слышно? Тебе-то хорошо в хате под периной, а я тут всю воюю. Стояли мы у большой крепости Мец, и была тут битва, и тут я так этих французов разделал, что вся инфантерия и артиллерия удивлялись. И сам генерал удивлялся и сказал, что я выиграл эту баталию, и дал мне крест. А теперь меня все офицеры и унтер-офицеры очень уважают и мало бьют по морде. Потом мы помаршировали дальше,



и была другая баталия – забыл только, как это место называется – и я опять их разделал и взял четвертое знамя, а одного, самого главного, кирасирского полковника, повалил и забрал в плен. А когда наши полки будут отсылать домой, так мне унтер-офицер советовал, чтоб я написал „рекламацию“ и остался в солдатах, потому что на войне только спать негде, зато жрешь сколько влезет и вино в этой стороне везде есть, потому что народ богатый. А потом мы жгли одну деревню, так ни детям, ни бабам спуска не давали, и я тоже. А костел сгорел дотла – они тоже католики, – и людей тоже сгорело немало. Теперь мы идем на самого ихнего царя, и война скоро кончится, а ты поглядывай за хатой и за Франеком, а в случае не доглядишь, я тебе бока наломаю, чтоб ты знала, что я за человек. Благослави тебя бог.

Бартоломей Словик».

Бартеку, очевидно, война пришлась по вкусу, и он теперь смотрел на нее как на подходящее для себя ремесло. Он стал самоуверен и шел теперь в бой, как прежде на какую-нибудь работу в Гнетове. На грудь его после каждого сражения сыпались медали и кресты, и, хоть в унтер-офицеры его и не произвели, однако все считали его первым солдатом в полку. Он был дисциплинирован и обладал слепой храбростью человека, который не сознает угрожающей ему опасности. Эта храбрость не вызывалась, как на первых порах, бешенством. Теперь ее источником были опыт и вера в себя. К тому же его могучее здоровье выдерживало любые трудности, походы и лишения. Люди вокруг него болели, тощали, ему одному все было нипочем; он только все более дичал и становился свирепым прусским солдатом. Теперь он не только бил французов, но и стал их ненавидеть. Изменились также и другие его понятия. Он превратился в солдата-патриота и слепо боготворил своих начальников. В следующем письме он писал Магде:

«Войтека разорвало пополам, но на то и война, понятно? А был он дурак, потому что говорил, что французы – те же немцы, а французы – это французы, а немцы – наши».

Магда в ответ на оба письма изругала его на чем свет стоит.

«Дражайший Бартек, пред алтарем со мной венчанный, – писала она. Накажи тебя бог! Сам ты дурак, басурман, если вместе с колбасниками народ католический губишь. А того не понимаешь, что колбасники-то лютеранской веры, а ты, католик, им помогаешь. Понравилось тебе воевать, бродяга, потому что можно бездельничать да драться, пьянствовать и других обижать, постов не блюсти и костелы жечь. Чтоб тебя на том свете в аду хорошенько поджарили за то, что ты этим бахвалишься и не разбираешь ни старых, ни малых. Вспомни, баран ты этакий, что в святой вере нашей золотыми буквами написано про польский народ от сотворения мира и до страшного суда: в тот день господь всемогущий не будет милостив к таким скотам, как ты, а потому и опомнись, турка ты этакий, пока я тебе башку не проломила. Посылаю тебе пять талеров, хоть мне тут трудно и помочь некому, а хозяйство идет плохо. Обнимаю тебя, дражайший Бартек.

Магда».

Мораль, заключавшаяся в этом письме, произвела на Бартека весьма слабое впечатление. «Ничего баба в службе не смыслит, – думал он, – а туда же суется». И воевал по-старому. Отличался он чуть ли не в каждом сражении, так что в конце концов на него обратили внимание люди поважнее Штейнмеца. Когда же потрепанные познанские полки были отправлены в гущу Германии, он по совету унтер-офицера

подал «рекламацию» и остался в строю. Таким образом он очутился под Парижем.

Письма его теперь были полны презрения к французам. «В каждой битве они улепетывают, как зайцы», – писал он Магде. И писал правду. Но осада пришлась ему не по вкусу. Под Парижем приходилось по целым дням лежать в траншеях, слушать орудийную пальбу, частенько рыть окопы и мокнуть. А главное, было жаль прежнего полка. В том, куда его перевели в качестве добровольца, его окружали по большей части немцы. По-немецки он немного болтал и раньше, когда работал на фабрике, но, как говорится, с пятого на десятое. Теперь он стал делать быстрые успехи. Тем не менее в полку его звали ein polnischer Ochse, и только кресты и страшные кулаки защищали его от обидных шуток. Но после нескольких сражений он приобрел уважение новых товарищей и мало-помалу начал сживаться с ними. В конце концов его стали считать своим, так как он прославил весь полк. Бартек счел бы себя оскорбленным, если б кто-нибудь назвал его немцем, но сам он себя звал, в отличие от французов, «ein Deutscher»[13]. Ему казалось, что это совсем разные понятия, к тому же он не хотел, чтобы его считали хуже других. Но вот произошел случай, который мог бы заставить Бартека сильно призадуматься, если бы это не было так трудно для его геройского ума. Однажды несколько команд из его полка было послано против вольных стрелков: устроили засаду – и стрелки в нее попались. На этот раз Бартек не увидел красных шапок, бросавшихся врассыпную при первых же выстрелах; отряд состоял из старых солдат, остатков какого-то иностранного легиона. Оказавшись окруженными со всех сторон, они отчаянно защищались и, наконец, ринулись на пруссаков, чтобы штыками расчистить себе путь через кольцо врагов. Дрались они с таким ожесточением, что часть их пробилась сквозь вражеские ряды. Остальные не сдавались живыми, зная, какая участь ожидает вольных стрелков. Отряд, в котором был Бартек, взял в плен только двоих. Вечером их поместили в сторожке лесника. Поутру их должны были расстрелять. Несколько солдат поставили у дверей, а Бартек должен был находиться внутри сторожки у разбитого окна, вместе со связанными пленниками.

Один из них был уже немолодой человек, с седеющими усами и безучастным выражением лица; другому на вид было лет двадцать с небольшим: светлые усики чуть пробивались на его нежном, почти девичьем лице.

– Вот и конец, – сказал младший, – пуля в лоб – и конец.

Бартек вздрогнул так, что даже ружье звякнуло у него в руке: юноша говорил по-польски.

– Мне-то все равно, – равнодушно сказал старший, – клянусь богом... все равно. Я уже столько натерпелся, что с меня довольно.

У Бартека под мундиром сердце билось все сильнее.

– Пойми, – продолжал старший, – нам уже спасения нет. Если тебе страшно, думай о чем-нибудь другом либо ложись спать. Жизнь – подлая штука! А мне, как бог свят, все равно.

– Мне матери жаль! – глухо ответил младший.

И, очевидно, желая заглушить волнение или обмануть самого себя, он принялся насвистывать, но вдруг перестал и воскликнул с глубоким отчаянием:

– Черт бы меня побрал! Я даже не простился с нею!

– Ты, что же, убежал из дому?

– Да. Я думал: немцев побьют, познанцам легче будет.

– И я так думал. А теперь...

Старший махнул рукой и что-то тихо прибавил, но его последние слова заглушило завывание ветра. Ночь была холодная. Время от времени налетал порывами мелкий дождик. Кругом стоял лес, черный, как траурный креп. По углам сторожки свистел ветер и, словно пес, завывал в трубе. Лампу, чтоб не задуло, повесили высоко над окном, и мигающий огонек освещал почти всю сторожку, но Бартек, стоявший у самого окна, оставался в тени.

И, может быть, лучше, что пленные не видели его лица. С мужиком творилось что-то странное. Сначала его охватило удивление, и он вытаращил глаза на пленников, стараясь понять, что они говорят. Значит, они пришли бить немцев, чтобы познанцам стало легче, а он бил французов, чтобы познанцам стало легче. И этих вот обоих утром расстреляют! Что же это? Как же в этом разобраться? А что, если заговорить с ними? Если им сказать, что он их земляк, что ему их жалко? Вдруг что-то сдавило ему горло. Но что он им скажет? Спасет их, что ли? Тогда и его расстреляют! Беда! Что же это с ним делается? Жалость душит его так, что он не может устоять на месте.

Страшная тоска нападает на него, откуда-то издалека, из Гнетова. Неведомый гость в солдатском сердце – сострадание – кричит ему прямо в душу: «Бартек! спасай своих, ведь это свои!», а сердце рвется домой, к Магде, в Гнетово, и так рвется, как никогда. Довольно с него и Франции, и войны, и сражений! Все явственней слышится голос: «Бартек! Спасай своих!» Эх, провались совсем эта война! За разбитым окном чернеет лес, шумят, как в Гнетове, сосны, и в этом шуме звучат слова: «Бартек! Спасай своих!»

Что ему делать? Убежать с ними в лес, что ли?

Все, что привила ему прусская дисциплина, содрогается при этой мысли... Во имя отца и сына! Ему, солдату, дезертировать? Никогда!

Между тем лес шумит все громче, все заунывнее свищет ветер.

Вдруг старший пленный говорит:

– А ветер-то, как у нас осенью...

– Оставь меня в покое, – удрученно отвечает младший.

Однако через минуту он сам несколько раз повторяет:

– У нас, у нас, у нас! Боже мой! Боже мой!

Глубокий вздох сливается со свистом ветра, и пленники снова лежат молча...

Бартека начинает трясти лихорадка.

Хуже всего, когда человек не отдает себе отчета в том, что с ним происходит.

Бартек ничего не украл, но ему кажется, будто он украл что-то и боится, как бы его не поймали. Ничто ему не угрожает, но он чего-то ужасно боится. Ноги у него подгибаются, ружье валится из рук, что-то душит его, точно рыдания. О чем? О Магде или о Гнетове? О том и другом, но и младшего пленника ему так жаль, что он не может совладеть с собой.

Минутами Бартеку кажется, что он спит. Между тем непогода на дворе все усиливается. В свисте ветра все чаще слышатся странные восклицания и голоса.

Вдруг у Бартека волосы встают дыбом. Ему чудится, что в глубине сырого темного бора кто-то стонет и повторяет: «У нас, у нас, у нас!»

Бартек вздрагивает у ударяет прикладом об пол, чтобы очнуться.

Как будто он пришел в себя... Он оглядывается: пленники лежат в углу, мигает лампа, воет ветер, – все в порядке.

Свет падает теперь прямо на лицо молодого пленника. Оно совсем как у ребенка или девушки. Но закрытые глаза и солома под головой придают ему вид покойника.

С тех пор как Бартек называется Бартеком, никогда он не испытывал такой жалости. Что-то явственно сжимает ему горло, его душат рыдания.

Между тем старший пленник с трудом поворачивается на бок и говорит:

– Покойной ночи, Владек.

Наступает тишина. Проходит час, и с Бартеком в самом деле творится что-то неладное. Ветер гудит, словно гнетовский орган. Пленники лежат молча. Вдруг младший, с усилием приподнявшись, зовет:

– Кароль!

– Что?

– Спишь?

– Нет

– Знаешь, я боюсь... говори, что хочешь, а я буду молиться.

– Молись!

– Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да придет царствие твое...

Рыдания заглушают слова молодого пленника... Но вот снова слышится его прерывающийся голос:

– Да будет... воля... твоя!..

«Господи Иисусе! – стонет что-то в груди у Бартека. – Господи Иисусе!»

Нет, он не выдержит больше! Еще минута – и он крикнет: «Панич, да ведь я польский мужик!» А потом через окошко... в лес... Будь что будет!

Вдруг в сенях раздаются мерные шаги. Это патруль, с ним унтер-офицер. Сменяют караул.

На другой день Бартек с утра был пьян. На следующий день – тоже.

\* \* \*

Потом были новые походы, стычки, передвижения... И мне приятно сообщить, что наш герой пришел в равновесие. После той ночи у него появилось только маленькое пристрастие к бутылке, в которой всегда можно найти вкус, а подчас и забвение. Впрочем, в сражениях он стал еще более свирепым. Победа шла по его следам.

## VI

Снова прошло несколько месяцев. Была уже середина весны. В Гнетове вишни в садах стояли усыпанные белым цветом, а поля сплошь зазеленели молодыми всходами. Однажды Магда, сидя перед хатой, чистила к обеду мелкий поросший картофель, скорей пригодный для скотины, чем для людей. Но была весна, и нужда уже заглянула в Гнетово. Это было видно и по лицу Магды, почерневшему и полному заботы. Быть может, чтобы отогнать ее, баба, полузакрыв глаза, напевала тонким протяжным голосом:

Ой, мой Ясек на войне!

Ой, письмо он пишет мне.

Ой, и я пишу ему!

Ой, я женка ведь ему.

Воробьи на черешнях чирикали так, словно хотели ее заглушить, а она, не прерывая песни, задумчиво поглядывала то на собаку, спавшую на солнце, то на дорогу, пролегавшую мимо хаты, то на тропинку, бежавшую через огород и поле. Может, потому поглядывала Магда на тропинку, что вела она напрямик к станции, и так судил бог, что в этот день она поглядывала на нее не напрасно. Вдали показалась какая-то фигура; баба приложила руку козырьком ко лбу, но ничего не могла разглядеть: солнце слепило глаза. Проснулся Лыска, поднял голову и, отрывисто тьякнув, принялся нюхать, насторожив уши и к чему-то прислушиваясь. В то же время до Магды донеслись неясные слова песни. Лыска вдруг сорвался и во весь дух помчался к приближавшемуся человеку. Магда слегка побледнела.

– Бартек или не Бартек?

И она вскочила так порывисто, что лукошко с картофелем полетело на землю; теперь уж не было никакого сомнения, – Лыска прыгал на грудь Бартеку. Баба бросилась вперед и от радости закричала что есть мочи:

– Бартек! Бартек!

– Магда! Это я! – ревел Бартек в кулак, как в трубу, и прибавлял шаг.

Он открыл ворота, задел за засов, чуть не свалился, покачнулся и упал прямо в объятия жены.

Баба затараторила:

– А я-то думала, уж не вернешься... Думала: убили его! Ну-ка, покажись! Дай насмотреться! Похудел-то как! Господи Иисусе! Ах ты бедняга!.. Милый ты мой!.. Воротился, воротился!

Она на минуту отрывала руки от его шеи и смотрела на него, потом снова обнимала.

– Воротился! Слава богу! Милый ты мой Бартек!.. Ну, что? Пойдем в хату... Франек в школе! Немец тут все допекает ребят. Мальчишка здоров. Только лупоглазый, как ты. Ох, давно бы тебе вернуться! Одной-то мне как управиться? Беда, прямо беда!.. Хата разваливается. В амбаре крыша течет. Ну, что? Ох, Бартек, Бартек! И как это я тебя еще вижу в живых! Сколько тут хлопот у меня было с сеном! Чемерницкие помогали! Да что толку! Ну как, ты-то здоров? Ох, и рада же я тебе! Как рада! Бог тебя уберег. Пойдем в хату. Господи ты боже! То ли это Бартек, то ли не Бартек! А это что у тебя? Господи!

Только теперь Магда заметила длинный шрам, тянувшийся через все лицо Бартека – от левого виска до подбородка.

– А ничего... Кирасир один меня смазал, ну да и я его... В больнице лежал.

– Господи Иисусе!

– Пустяки.

– И отощал же ты, как скелет.

– Ruhig[14], – отвечал Бартек.

Он был действительно худ, черен, оборван. Настоящий победитель! К тому же он еле держался на ногах.

– Да ты что? пьян?

– Ну вот... слаб еще.

Он был слаб, это верно! Но и пьян, так как при его истощении ему хватило бы и одной рюмки водки, а он выпил на станции целых четыре. Но зато дух и вид у него были как у настоящего победителя. Такого вида у него прежде никогда не бывало!

– Ruhig! – повторял он. – Мы кончили Krieg![15] Теперь я пан, понятно? А это видишь? – тут он показал на свои кресты и медали. – Поняла, каков я? А? Links, rechts! Neu! Stroch![16] Сено! Солома! Солома! Сено! Halt![17]

Последнее «halt» он крикнул так пронзительно, что баба отскочила на несколько шагов.

– Ты что, ошалел?

– Как поживаешь, Магда? Когда тебе говорят: как поживаешь, то значит, как поживаешь?.. А по-французски знаешь, дура?.. Мусью, мусью! Кто мусью? Я – мусью: Поняла?

– Да что с тобой?

– А тебе что за дело? Was?[18] Донэ динэ![19] Понимаешь?

На лбу Магды стали собираться тучи.

– Это ты по-каковски болтаешь? Ты что же, совсем разучился по-польски? Ах ты колбасник! Верно я говорю! Что из тебя сделали?

– Дай поесть!

– Пошел в хату!

Всякая команда производила на Бартека неотразимое впечатление, которому он не мог противиться. Услышав «пошел!», он выпрямился, вытянул руки по швам и, сделав поворот, зашагал в указанном направлении. На пороге опомнился и с удивлением посмотрел на Магду.

– Ну, что ты, Магда? Что ты?

– Пошел! Марш!

Он пошел в хату, но упал на самом пороге. Только теперь водка по-настоящему ударила ему в голову. Он запел и, озираясь по сторонам, стал искать в хате Франека. Даже сказал: «Morgen, Kerl!»[20], хотя Франека не было. Потом расхохотался, сделал один чересчур большой шаг, два слишком маленьких, крикнул «ура» и повалился на постель. Вечером он проснулся трезвый, бодрый, поздоровался с Франеком и, выпросив у Магды несколько пфеннигов, предпринял триумфальный поход в корчму. Слава о доблестях Бартека опередила его: многие солдаты других рот того же полка вернулись в Гнетово раньше Бартека и всюду рассказывали о его подвигах под Гравелоттом и Седаном. Поэтому, когда разнеслась весть, что победитель в корчме, все прежние товарищи поспешили с ним повидаться.

И вот сидит Бартек снова за столом, но никто бы его теперь не узнал. Он, прежде такой смиренный, стучит сейчас кулаком по столу, надувается словно индюк и словно индюк балбошет:

– А помните, ребята, когда я в тот раз французов разделал, что сказал Штейнмец?

– Еще бы не помнить!

– Болтали про французов, пугали, а они самый квелый народ. Was? Салат жрут, как зайцы, да и улепетывают не хуже зайцев. Пива – и того не пьют, одно только вино.

– Верно.

– Стали мы как-то жечь одну их деревню, а они руки этак сложили и кричат: «Питье, питье!»[21] По-ихнему, значит, они пить дадут, только не трогай. Но мы на это не пошли.

– А понять можно, что они лопочут? – спросил молодой парень.

– Ты не поймешь – потому глуп, а я понимаю. Донэ дю пен![22] – понимаешь?

– Что это вы говорите?

– А Париж видели? Вот там были баталии, одна за другой. Только мы всякий раз их били. Нет у них настоящего начальства. Так люди говорят. Плетень-то, говорят, хорош, да колья плохи. И офицеры у них плохие и генералы плохие, а у нас

хорошие.

Старый Мацей Кеж, умный гнетовский мужик, покачал головой:

– Ох, выиграли немцы войну, страшную войну выиграли, и мы им немало помогли, а какая нам от того прибыль – одному богу известно.

Бартек вытаращил на него глаза.

– Что это вы говорите?

– А то, что и прежде немцы нас ни во что ставили, а теперь так носы задирают, словно и бога чад ними нет. А будут еще хуже издеваться над нами, да уж и сейчас издеваются.

– Неправда! – изрек Бартек.

В Гнетове старик Кеж пользовался таким уважением, что вся деревня думала его головой и никто не смел ему перечить, но Бартек был теперь победитель и сам имел вес.

Тем не менее все посмотрели на него с удивлением и даже, пожалуй, с негодованием.

– Ты что? С Мацеем будешь спорить? Что ты?

– А что мне ваш Мацей? Я и не с таким говорил, понятно? Ребята! Не говорил я со Штейнмецем? Что? А Мацей врет, так и врет. Теперь нам лучше будет.

Мацей с минуту смотрел на победителя.

– Ох, и глуп же ты! – сказал он.

Бартек стукнул кулаком по столу, да так, что все рюмки и кружки подскочили.

– Still der Kerl da! Neu, Stroh!..[23]

– А ты тише, не ори! Спроси лучше, глупая твоя голова, у ксендза или у пана.

– А ксендз разве был на войне? Или пан был? А я был. Не верьте, ребята. Теперь-то уж нас будут уважать. Кто войну выиграл? Мы выиграли! Я выиграл! Теперь чего не попрошу, мне все дадут. Захочу я стать помещиком во Франции, – и стану. Начальство-то знает, кто крепче всех лупил французов. Наши полки были самые лучшие. Так и в приказах писали. Теперь поляки пошли в гору. Понятно?

Кеж махнул рукой, встал и пошел прочь. Бартек одержал победу и на политическом поприще. Молодежь осталась с ним, смотрела на него, как на икону, а он продолжал:

– Я чего ни захочу, все мне дадут. Не будь меня, не то бы было! Старый Кеж – дурак. Понятно? Начальство велит бить – значит, бей! Кто надо мной станет издеваться? Немцы? А это что? – И он опять показал на свои кресты и медали. – А за кого я лупил французов? Не за немцев, что ли? Я теперь лучше всякого немца, потому что ни один немец не получил столько медалей. Пива сюда! Я со Штейнмецем



говорил, с Подбельским говорил. Пива сюда!

Смахивало на то, что будет попойка. Бартек начал петь:

Trink, trink, trink,  
Wenn in meiner Tasche  
Noch ein Thaler klingt!..[24]

И он вытащил из кармана горсть пфеннигов.

– Нате! Я теперь пан! Не хотите? Ох, и не такие деньги водились у нас во Франции, только все куда-то девалось. Мало ли мы там пожгли да людей поубивали. Уж кого там только не было... одних французишек...

Настроение пьяных быстро меняется. Неожиданно Бартек сгреб со стола монеты и жалобно заголосил:

– Смилуйся, боже, над душой моей грешной...

Потом оперся локтями о стол, уткнул лицо в кулаки и замолчал.

– Ты что это? – спросил какой-то пьяный.

– Чем я виноват? – угрюмо пробормотал Бартек. – Сами лезли. А жалко мне их было: ведь земляки. Господи, помилуй! Один был, как зорька, румяный. А наутро побелел как полотно. А потом их, еще живых, засыпали... Водки!

Настала минута томительного молчания. Мужики с удивлением переглядывались.

– Что это он городит? – спросил кто-то.

– Совесть, видно, заговорила.

– Из-за войны этой самой и пьет человек, – пробормотал Бартек.

Он выпил рюмку, потом другую. С минуту помолчал, потом сплюнул и неожиданно опять пришел в хорошее настроение.

– Вы-то небось не говорили со Штейнцем? А я говорил! Ура! Пейте, ребята! Кто платит? Я!

– Ты, пьяница, платишь, ты! – раздался голос Магды. – Вот я тебе заплачу, не бойся!

Бартек посмотрел на жену стеклянными глазами.

– А ты со Штейнцем говорила, а? Ты кто такая?

Магда, не отвечая, повернулась к сочувствующим слушателям и принялась причитать:

– Ой, люди добрые, видите вы мой стыд, мою горькую долю. Вот он, воротился... Я-то, дура, ему обрадовалась, как порядочному, а он воротился пьяный. И бога забыл и по-польски забыл. Чуть выпался, протрезвился, опять пьянствует и трудом моим, потом расплачивается. А где ты взял эти деньги? Не я ли их потом-кровью заработала? Ой, люди добрые, уж не католик он, не человек, а немец окаянный,

по-немецки лопочет да жить норовит людской кривдой. Ой, отступник, ох...

Тут баба залилась слезами, но потом опять повысила голос на октаву.

– Глупый-то хоть и всегда он был, да зато был добрый, а теперь что из него сделали?.. Ждала я его и вечером, ждала я его и утром – и вот дождалась. Ни тебе радости, ни тебе утешения! Боже милостивый! Чтоб тебя разорвало, чтоб ты навек немцем остался!

Последние слова она произнесла, жалобно причитая, почти нараспев. А Бартек на это:

– Молчи, не то поколочу!

– Бей, руби голову, сейчас руби, убей, прикончи, кровопийца! исступленно кричала баба и, вытянув шею, обратилась к мужикам: – Смотрите, люди добрые!

Но мужики предпочли поскорей убраться. Вскоре в опустевшей корчме остались только Бартек да баба с вытянутой шеей.

– Что ты шею-то вытянула, как гусь, – бормотал Бартек, – иди домой.

– Руби! – повторяла Магда.

– А вот и не отрублю, – отвечал Бартек и засунул руки в карманы.

Тут корчмарь, желая положить конец ссоре, потушил единственную свечу. Стало темно и тихо. Через минуту в темноте раздался визгливый голос Магды:

– Руби!

– А вот не отрублю! – отвечал торжествующий голос Бартека.

В лунном свете можно было видеть две фигуры, шедшие из корчмы. Одна из них, что впереди, причитала в голос: это была Магда; за нею, понурив голову, смиренно следовал герой Гравелотта и Седана.

## VII

На беду, Бартек воротился таким слабым, что несколько дней не мог работать. А в хозяйстве дозарезу были нужны мужские руки. Магда выбивалась из сил и работала с утра до ночи. Соседи Чемерницкие помогали ей, чем могли, но этого было недостаточно, и хозяйство понемногу приходило в упадок. Магда задолжала колонисту Юсту, немцу, который когда-то купил в Гнетове пятнадцать моргов пустоши и завел на ней лучшее во всей деревне хозяйство. Были у Юста и деньги, которые он давал в займы под высокие проценты. Давал он прежде всего помещику, пану Яжинскому, имя которого красовалось в «золотой книге» и который именно по этой причине должен был поддерживать блеск своего рода на соответствующей высоте; давал Юст и мужикам. Магда уж полгода должна была ему несколько десятков талеров, которые частью вложила в хозяйство, частью переслала Бартеку во время войны. Все было бы ничего. Бог дал хороший урожай, и долг можно было бы заплатить из будущей жатвы, лишь бы только приложить руки к делу. Но, к несчастью, Бартек не мог работать. Магда не очень-то этому верила и даже ходила к ксендзу за советом, как бы расшевелить мужика, ко он действительно не мог работать. Стоило ему хоть немного утомиться, как он начинал задыхаться и

жаловаться на ломоту в пояснице. Так он и сидел по целым дням перед хатой, курил фарфоровую трубку с изображением Бисмарка в белом мундире и кирасирской каске и смотрел на мир усталыми, сонными глазами человека, кости которого еще не отдохнули от перенесенных трудов. При этом он размышлял немножко о войне и о победах, немножко о Магде, немножко обо всем – и ни о чем.

Раз, когда он так сидел, издали послышался плач возвращавшейся из школы Франека.

Бартек вынул изо рта трубку.

– Эй, Франек! Что с тобой?

– Да, «что с тобой»... – всхлипывая, повторил Франек.

– Чего ты реवेशь?

– Как же мне не реветь, если мне дали по морде...

– Кто тебе дал по морде?

– Кто же, как не пан Беге!

Пан Беге исполнял обязанности учителя в Гнетове.

– А имеет он право давать тебе по морде?

– Значит, имеет, раз дал.

Магда, которая копала в огороде картофель, перелезла через плетень и с мотыгой в руке подошла к ребенку.

– Ты что там наделал? – спросила она.

– Ничего я не наделал... А просто Беге обозвал меня польской свиньей и дал мне по морде, а потом сказал, что раз теперь они французов завоевали, то нас будут ногами топтать, потому что они всех сильнее. А я ему ничего не сделал, только он меня спросил, кто самая важная особа на свете, а я сказал, что святой отец, а он дал мне по морде, а я начал кричать, а он обозвал меня польской свиньей и сказал, что как теперь они французов завоевали...

Франек было опять начал: «А он сказал, а я сказал», но Магда зажала ему рот рукой и, обратившись к Бартеку, закричала:

– Ну, слышишь, слышишь! Иди вот вой с французами, а потом немец будет бить твоего ребенка как собаку да еще изругает. Иди вот вой... Пусть пруссак убивает твоего ребенка – вот тебе награда! О, чтоб тебе...

Тут Магда, растроганная собственным красноречием, тоже принялась плакать, а Бартек вытаращил глаза и разинул рот от изумления. Изумление его было так велико, что он не мог слова вымолвить и прежде всего не мог понять, что же произошло. Как же так? А его победы... С минуту еще он сидел молча, потом глаза его заблестели, кровь бросилась в лицо. Изумление так же, как испуг, у людей глупых часто переходит в ярость. Бартек вдруг вскочил и пробормотал, стиснув зубы:

– Я с ним поговорю!

Идти было недалеко. Школа находилась тут же, за костелом. Пан Беге стоял у крыльца, окруженный поросятами, которым он бросал куски хлеба.

Это был человек высокого роста, лет под пятьдесят, еще крепкий, как дуб. Сам он не был толст, только лицо у него было очень упитанным. А с этого лица смотрели смело и энергично большие рыбы глаза.

Бартек подошел к нему вплотную.

– За что это ты, немец, бьешь моего ребенка? Was? – спросил он.

Пан Беге отступил на несколько шагов, смерил его глазами без тени страха и флегматично сказал:

– Пошел вон, польский турак.

– За что бьешь ребенка? – повторил Бартек.

– И тебя побью, польская хама! Теперь мы вам покажем, кто тут пан. Пошел к черту, иди жалуйся в суд... Убирайся!

Бартек схватил учителя за плечи и изо всей силы стал его трясти, крича хриплым голосом:

– Да ты знаешь ли, кто я такой? Знаешь, кто французов лупил? Знаешь, кто со Штейнмецем разговаривал? За что бьешь ребенка, прусская морда?

Рыбы глаза пана Беге вылезли на лоб не хуже, чем у Бартека, но пан Беге был сильный человек и решил одним ударом освободиться от противника.

Он размахнулся и дал здоровенную оплеуху герою Гравелотта и Седана. Тут мужик вышел из себя. Голова пана Беге закачалась из стороны в сторону, как маятник, с тою только разницей, что эти движения были гораздо быстрее.

В Бартеке снова проснулся страшный истребитель тюркосов и зуавов. Напрасно двадцатилетний сын Беге Оскар, парень могучего сложения, поспешил на помощь отцу. Завязалась борьба, непродолжительная, но страшная. Сын упал наземь, а отец взлетел в воздух. Бартек поднял руки кверху и понес его, сам не зная куда. К несчастью, перед домом стояла бочка с помоями, которые бережно сливала для свиней пани Беге. Вдруг в бочке что-то булькнуло. Через минуту были видны только отчаянно дрыгающие в воздухе ноги пана Беге. Жена его выскочила из дома:

– Помогите! Спасите!

Однако она не растерялась, перевернула бочку и выплеснула мужа вместе с помоями на землю

Из соседних домов высыпали колонисты и бросились на помощь соседям.

Несколько немцев накинулись на Бартека и принялись колотить его палками и кулаками. Произошла общая свалка, в которой было трудно отделить Бартека от его

врагов: десяток тел сбился в одну кучу, и все они судорожно извивались.

Вдруг из этой кучи выскочил, как шальной, Бартек и во всю мочь побежал к плетню.

Немцы ринулись за ним, но тут раздался страшный треск – плетень закачался, и в ту же минуту в железных ручищах Бартека очутилась здоровенная жердь.

Он повернулся к ним, взбешенный, с пеной на губах, размахивая своей жердью; все бросились врассыпную.

Бартек погнался за ними.

К счастью, он никого не догнал. За это время он опомнился и стал отступать к дому. Ах, если бы перед ним были французы! Его отступление обессмертила бы история.

Дело было так: нападающие в числе около двадцати человек собрались с силами и опять двинулись на Бартека.

Он медленно отступал, как дикий кабан, преследуемый собаками. Время от времени он останавливался; тогда останавливались и его преследователи. Жердь внушала им почтительный страх.

Но они продолжали бросать в Бартека камнями, и метким ударом кто-то ранил его в лоб. Кровь заливала ему глаза. Он почувствовал, что ослабевает. Покачнулся раз, другой и, выпустив жердь из рук, упал.

– Ура! – закричали колонисты.

Но прежде чем они до него добежали, Бартек опять поднялся. Это их остановило. Раненый волк мог еще быть опасен. Кроме того, отсюда уже было недалеко до первых хат, и издали видно было, как несколько парней со всех ног бегут к полю сражения. Колонисты отступили к своим домам.

– Что случилось? – посыпались вопросы.

– Немцев малость пощупал, – отвечал Бартек. И упал без чувств.

## VIII

Дело приняло серьезный оборот. В немецких газетах появились необычайно трогательные статьи о преследованиях, которым подвергается мирное немецкое население со стороны темной варварской массы, разжигаемой антиправительственной агитацией и религиозным фанатизмом. Беге стал героем. Этот тихий и скромный учитель, сеятель просвещения на далеких окраинах, этот истинный апостол культуры среди варваров, первый пал жертвой беспорядков. К счастью, за ним стоят сто миллионов немцев, которые не позволят, чтобы и т. п.

Бартек не знал, какая гроза собирается над его головой. Напротив, он думал, что все прекрасно кончится, и был совершенно уверен, что выиграет дело в суде. Ведь Беге побил его ребенка и первый его ударил, а потом на него напало столько народу! Должен же он был защищаться! Да еще и голову камнем проломили. И кому? Ему, о котором постоянно упоминалось в приказах, ему, который «выиграл» битву под Гравелоттом, который разговаривал с самим Штейнмецем, ему, который имел столько крестов и медалей! В его голове положительно не укладывалось, как это

немцы могли обо всем этом не знать и как смели его так обидеть. Равным образом не мог он понять и того, как это Беге мог сказать гнетовцам, что теперь немцы будут топтать ногами их за то, что они, гнетовцы, так здорово били французов при всяком удобном случае. Что касалось его самого, то Бартек был убежден, что суд и правительство примут его сторону. Там-то ведь будут знать, что он за человек и что делал на войне. А уж Штейнмец наверно заступится за него. Ведь он из-за этой войны и обеднел и хату заложил, – не откажут же ему в справедливости.

Между тем в Гнетово приехали за Бартеком жандармы. Они, по-видимому, ждали ожесточенного сопротивления, так как приехали впятером, с заряженными ружьями. Но они ошиблись Бартек и не думал сопротивляться. Велели ему сесть в бричку – он сел. Только Магда была в отчаянии и упорно повторяла:

– Ох, нужно было тебе так с французами воевать? Вот же тебе, бедняга, за это, вот!

– Молчи, дура, – отвечал Бартек и весело улыбался всю дорогу, поглядывая на прохожих.

– Я им покажу, кого они обидели! – кричал он из брички.

И он ехал в суд со всеми своими крестами на груди, как триумфатор.

Суд действительно оказался к нему милостивым. Признав наличие смягчающих вину обстоятельств, Бартека приговорили только к трем месяцам тюрьмы. Кроме того, его приговорили к штрафу в сто пятьдесят марок в пользу семьи Беге и других «оскорбленных действием» колонистов.

«Однако преступник, – говорилось в судебном отчете „Posener Zeitung“, по объявлении приговора не только не проявил ни малейшего раскаяния, но разразился такими грубыми ругательствами и так бесстыдно стал выставлять свои мнимые заслуги перед государством, что можно только удивляться, как прокурор не возбудил против него нового дела за оскорбление суда и немецкого народа».

Между тем Бартек спокойно вспоминал в тюрьме свои подвиги под Гравелоттом, Седаном и Парижем.

Однако мы совершили бы несправедливость, утверждая, что поступок пана Беге не вызвал никакого публичного осуждения. Напротив, напротив! В одно дождливое утро в рейхстаге выступил некий польский депутат и принялся весьма красноречиво доказывать, что в Познани изменилось отношение к полякам; что за мужество и потери, понесенные познанскими полками в эту войну, надлежало бы больше заботиться о нуждах населения познанской провинции; и, наконец, что пан Беге в Гнетове злоупотреблял своим положением учителя, позволяя себе бить польских детей, обзывать их «польскими свиньями» и говорить, что после этой войны пришьлые люди будут топтать ногами аборигенов.

И пока депутат это говорил, за окном лил и лил дождь, а так как в такие дни людей одолевает сонливость, то зевали консерваторы, зевали национал-либералы и социалисты, зевал центр, ибо все это происходило еще до эпохи «культурной борьбы».

Наконец, от этой «польской кляузы» палата перешла к «очередным делам».

Тем временем Бартек сидел в тюрьме, вернее лежал в тюремной больнице, так как от удара камнем у него открылась рана, полученная еще на войне.

Когда у него не было жара, он все думал, как тот индюк, который околел от дум. Бартек не околел, но ничего не выдумал.

Однако изредка, в минуты, которые в науке называются *lucida intervalla*, ему приходило в голову, что, может быть, напрасно он так «лупил» французов...

Для Магды наступило тяжелое время: надо было платить штраф, а денег взять было неоткуда. Гнетовский ксендз хотел ей помочь, но оказалось, что в кассе нет и сорока марок. Гнетово было бедным приходом, да старичок и не знал никогда толком, куда у него уходят деньги. Пана Яжинского не было. Говорили, что он поехал в Царство Польское свататься к какой-то богатой панне.

Магда не знала, что ей делать.

Об отсрочке уплаты штрафа нечего было и думать. Что ж тут делать? Продать лошадей, коров? Хлеба еще стояли в поле, время и без того было трудное. Приближалась жатва, в хозяйстве нужны были деньги, а они все вышли. Магда в отчаянии ломала руки. Подала в суд несколько прошений о помиловании, ссылаясь на заслуги Бартека, но ей даже не ответили. Приближался срок платежа, а с ним секвестр.

Она молилась и молилась, с горечью вспоминая прежнее время, до войны, когда они жили в достатке, а Бартек вдобавок еще зарабатывал зимой на фабрике. Пошла она к кумовьям призанять денег, но и у тех не было. Война всех разорила. К Юсту пойти она не смела, потому что уж и так была ему должна и даже процентов не платила. Между тем Юст сам неожиданно к ней явился.

Однажды в полдень Магда сидела на пороге своей хаты, празднично сложив руки, потому что от горя силы ее совсем оставили. Она смотрела на реявших в воздухе золотых мушек и думала: «Какие же эти насекомые счастливые: летают куда им вздумается и ни за что не платят...» Порой она тяжело вздыхала и с побледневших губ ее срывалось тихое: «Боже мой, боже мой!» Вдруг у ворот показался загнутый книзу нос Юста; из-под носа торчала изогнутая трубка. Магда побледнела. Юст окликнул ее:

– Morgen!

– Как поживаете, пан Юст?

– А мои деньги?

– Ах, золотой мой пан Юст, потерпите немного. Нет у меня денег, что делать? Мужика моего взяли, штраф за него надо платить, а я никак концы с концами свести не могу. Лучше бы мне помереть, чем этак мучиться изо дня в день... Уж вы подождите, золотой мой пан Юст!

Она расплакалась и, наклонившись, смиренно поцеловала толстую красную руку пана Юста.

– Вот пан приедет, я у него возьму займы и отдам вам.

– Ну, а штраф из чего заплатите?

– Ох, не знаю. Коровенку, видно, продать придется.

– Я вам еще дам займы.

– Бог вам пошлет за это, золотой мой пан! Вы хоть и лютеранин, а хороший человек. Верно я говорю. Если бы все немцы были такие, как вы, все бы их благословляли.

– Только я без процентов не дам.

– Знаю, знаю.

– Нужно будет написать расписку на все.

– Хорошо, золотой мой пане, пошли вам бог!

– Вот я поеду в город, тогда составим акт.

Юст побывал в городе и составил акт, но Магда прежде сходилась посоветоваться с ксендзом. Однако что ж тут было делать? Ксендз сказал, что срок слишком короток, а проценты слишком высоки, и очень жалел, что пан Яжинский уехал: был бы он здесь, наверное, помог бы. Магда не могла ждать до тех пор, пока все имущество пустят с молотка, и согласилась на условия Юста. Она взяла займы триста марок, то есть вдвое больше, чем нужно было, чтобы заплатить штраф, так как хозяйство тоже требовало денег. Бартек ввиду важности акта должен был скрепить его своей подписью. Магда нарочно ходила к нему для этого в «карцер». Победитель был очень удручен, подавлен и болен. Он было написал жалобу, указав на все причиненные ему обиды, ко статьи «Posener Zeitung» настроили правительственные сферы неблагоприятно по отношению к нему. Разве власти не должны расширить опеку над мирным немецким населением, «которое в последнюю войну дало столько примеров любви к отечеству и принесло столько жертв»? Понятно, что жалобу Бартека отклонили. Неудивительно и то, что это его окончательно надломило.

– Ну, теперь мы совсем пропадем, – сказал он жене.

– Совсем, – повторила Магда.

Бартек о чем-то задумался.

– Крепко они меня обидели, – сказал он.

– А Беге мальчишку обижает, – добавила Магда. – Ходила я его просить, а он меня же обругал. Ох, беда, теперь немцы у нас в Гнетове всем заправляют. Никого и не боятся.

– И верно, они всех сильнее, – печально проговорил Бартек.

– Я простая баба, но скажу тебе: всех сильнее бог.

– Он наше прибежище, – добавил Бартек.

С минуту оба молчали. Потом Бартек снова спросил:



– Ну, а что Юст?

– Если бог пошлет урожай, как-нибудь с ним расплатимся. Может, пан поможет, хотя он и сам кругом должен немцам. Еще до войны говорили, что придется ему продать Гнетово. Вот разве на богатой женится...

– А скоро он вернется?

– Кто его знает! В усадьбе говорят, что скоро с женой приедет. Уж немцы его прижмут, как воротится. И везде эти немцы! Так и лезут со всех сторон, как клопы! Куда ни повернись – в городе ли, в деревне ли, – везде немцы... Верно, за грехи наши. А помощи – ниоткуда.

– Может, ты что придумашь? Ты баба умная.

– Что я придумую, ну что? Разве я по доброй воле взяла у Юста деньги? По правде сказать, так и хатенка наша и земля – все теперь его. Юст хоть лучше других немцев, а и он своего не упустит. Не даст он мне отсрочки, как и другим не давал. Будто я такая дура, не понимаю, зачем он мне деньги сует! Да что делать, что делать, – говорила она, ломая руки. – Придумывай ты, коли умен. Французов-то ты умел бить, а вот что станешь делать, когда крыши у тебя над головой не будет, хлеба куска не станет?

Герой Гравелотта схватился за голову.

– Господи Иисусе!

У Магды было доброе сердце, ее тронуло горе Бартека, она прибавила:

– Молчи, родной, молчи! Да не трогай ты голову – рана-то еще не зажила. Только бы бог урожай дал! А рожь такая поднялась, что хоть целуй землю, и пшеница тоже. Земля-то не немец: не обидит. Хоть из-за твоей войны плохо земля вспахана, а растет все так, что душа радуется.

Магда улыбнулась сквозь слезы.

– Земля-то не немец... – повторила она еще раз.

– Магда, – сказал Бартек, уставясь на нее своими выпученными глазами. Магда!

– Ну, что?

– А ведь ты... такая...

Бартек чувствовал к ней великую благодарность, но не умел ее выразить.

## IX

Магда в самом деле стояла десятка других баб. Она иной раз круто обходилась со своим Бартеком, но была к нему искренно привязана. В минуты гнева, как, например, тогда в корчме, она и при людях называла его глупым, но тем не менее хотела, чтобы люди о нем думали иначе. «Мой Бартек только прикидывается глупым, а он хитрый», – говаривала она. А Бартек был так же хитер, как его лошадь, и без Магды никак бы не мог управиться с хозяйством, да и вообще ни с чем. Теперь, когда все свалилось на ее бедную голову, она принялась суетиться, хлопотать,

бегать куда-то, просить – и, наконец, добилась-таки помощи. Через неделю после посещения мужа в тюремной больнице она опять к нему прибежала, запыхавшаяся, сияющая, счастливая.

– Как живешь, Бартек, колбасник ты этакий? – радостно закричала она. Знаешь, пан приехал! Женился он, молодая пани как есть ягодка. И взял же он за нею всякого добра, ой-ой!..

Действительно, гнетовский помещик женился и приехал с молодой женою и в самом деле взял за ней немало «всякого добра».

– Ну, так что с того? – спросил Бартек.

– Молчи, глупый! – ответила Магда. – Ох, и запыхалась же я!.. О господи!.. Пришла это я поклониться пани, смотрю: выходит она ко мне будто королева, а сама молоденькая, как весенний цветик, и собой хороша, словно зорька... Вот жара-то!.. Не продохнешь...

Магда подняла фартук и стала утирать им мокрое от пота лицо. Через минуту она опять заговорила прерывающимся голосом:

– А платье-то на ней лазоревое, как василек. Повалилась я ей в ноги, а она мне ручку дала... Поцеловала я... А ручки-то у нее пахучие и маленькие, как у ребенка... Ну в точности как святая на иконе, и добрая, и беду людскую понимает. Стала тут я просить ее помочь... Дай ей бог доброго здоровья!.. А она говорит: «Что в моих силах, говорит, все сделаю». А голосок у нее такой, что, как скажет слово, так у тебя на душе просветлеет. Стала я ей рассказывать, какой у нас в Гнетове народ несчастный, а она отвечает: «Эх, не в одном только Гнетове».. Тут уж я разревелась. И она тоже... Как раз пан вошел, увидел, что она плачет, и давай ее целовать – и в губы-то и в глаза. Господа не такие, как вы! Вот она и говорит: «Сделай для этой женщины, что можешь!» А он отвечает: «Все на свете, чего захочешь!» Спаси ее мать божья, ягодку мою золотую! Пошли ей деток да здоровья! А пан тут и говорит: «Сильно вы виноваты, отдались немцу в руки, но я, говорит, вас выручу и дам денег для Юста».

Бартек зачесал затылок.

– Да ведь и пан был у немцев в руках.

– Ну так что же? Пани-то ведь богатая! Теперь они могут всех немцев в Гнетове купить, – значит, пану все и можно говорить. Выборы, говорит пан, скоро будут, так пусть, мол, люди за немцев не голосуют, а я, говорит, и Юсту заплачу и Беге приструню. А пани его за это обняла, а пан про тебя спрашивал и сказал, что если ты болен, так он потолкует с доктором, чтоб он тебе свидетельство написал, что ты не можешь сейчас сидеть. Если, говорит, не выпустят его совсем, так лучше зимой ему отсидеть, а теперь, говорит, жатва скоро, так он по хозяйству нужен. Понял? Вчера пан в городе был, а сегодня доктор в Гнетово приедет: пан его пригласил. Этот – не немец. Он и свидетельство напишет. А зимой будешь в тюрьме сидеть, как король какой, и тепло тут и жрать дадут даром, а теперь отпустят домой работать. Самое главное, что Юсту заплатим, а пан, может, и процентов не возьмет. Осенью если не все ему отдадим, так я пани подождать попрошу. Награди ее мать божья... Понял?

– Добрая пани, что и говорить! – весело сказал Бартек.

– Выйдешь, смотри поклонись ей в ноги, поклонись, а не то я тебе твою рыжую башку оторву! Только бы бог урожай дал! Видишь теперь, откуда спасение? От немцев? Дали они тебе хоть грош за твои дурацкие медали? А? По башке вот дали – и дело с концом. В ножки поклонись пани, я тебе говорю!

– Почему ж не поклониться! – бойко ответил Бартек.

Судьба, казалось, снова улыбалась победителю. Через несколько дней ему заявили, что по болезни его освобождают до самой зимы. Однако перед этим ландрат велел ему явиться к себе. Бартек повиновался, но душа у него снова ушла в пятки. Тот самый мужик, который с одним только ружьем захватывал знамена и орудия, боялся теперь больше смерти любого мундира; в душе его появилось глухое бессознательное чувство, что его преследуют, что с ним могут сделать, что захотят, что есть над ним какая-то огромная сила, враждебная и злая, которая сотрет его, вздумай он оказать малейшее сопротивление! И вот не дыша он стоял перед ландратом, как некогда перед Штейнмецем: руки по швам, втянув живот и выпятив грудь колесом. Кроме ландрата, тут было еще несколько офицеров: война и военная дисциплина вновь воочию предстали перед Бартеком. Офицеры смотрели на него через золотые пенсне гордо и презрительно, как и подобает смотреть прусским офицерам на простого солдата и вдобавок польского мужика; он продолжал стоять навтыжку, а ландрат что-то говорил повелительным тоном. Он не просил, не уговаривал, а приказывал и угрожал. В Берлине умер депутат, назначены новые выборы.

– Du polnisches Vieh[25], попробуй только голосовать за пана Яжинского, попробуй!

Тут брови офицеров сдвинулись, образуя грозные львиные складки. Один, откусывая кончик сигары, повторил за ландратом: «Попробуй!» А у героя Седана и дух замер. Услышав, наконец, желанное «пошел вон!», он, сделав поворот налево, вышел и вздохнул с облегчением. Ему было приказано голосовать за пака Шульберга из Большой Кривды. Над приказом он не раздумывал, но дышал с облегчением, потому что шел в Гнетово, потому что к жатве он будет дома, потому что пан обещал заплатить Юсту.

Вот и последние городские дома. Вокруг раскинулись желтеющие поля. На ветру колыхались тяжелые налитые колосья и, задевая друг друга, шелестели сладким для мужицкого слуха шелестом. Бартек был еще слаб, но солнце пригревало его. «Эх, хорошо жить на свете, – думал измученный солдат. – И до Гнетова уже недалеко».

Х

Выборы! Выборы! Головка пани Марии Яжинской занята только ими; ни о чем другом она не думает, не говорит, не мечтает.

– Вы, пани, великий политик, – говорит ей сосед-шляхтич, припадая губами к ее маленьким ручкам, а «великий политик» краснеет, как вишня, и отвечает с пленительной улыбкой:

– О, мы агитируем как только можем!

– Пан Юзеф будет депутатом! – с уверенностью говорит шляхтич, а «великий политик» отвечает:

– Я бы очень хотела этого, и не только ради Юзя, но (тут «великий политик»

совсем неполитично краснеет как рак) ведь это общественное дело.

– Настоящий Бисмарк! Как бог свят! – восклицает шляхтич и снова целует маленькие ручки, после чего они начинают совещаться о методах агитации.

Шляхтич берет на себя Нижнюю Кривду и Убогово (Большая Кривда для них потеряна, так как принадлежит пану Шульбергу), а пани Мария намерена заняться прежде всего Гнетовом. У нее уже головка разламывается от множества забот. Но она не теряет времени. Каждый день ее можно видеть на улице, когда она обходит хаты. Одной рукой она поднимает платье, а другой держит зонтик, а из-под платья выглядывают маленькие ножки, которые бодро топчут, преследуя великие политические цели. Пани Мария заходит в хаты, говоря по дороге всем, кого видит за работой, «бог в помощь». Она навещает больных, привлекает на свою сторону людей, помогает, где может. Несомненно, она бы делала это и без политики, потому что у нее доброе сердце, но ради политики – тем более. Чего бы она только не сделала ради этой политики? Она только не смеет признаться мужу, но ей страшно хочется поехать на крестьянский сход, и она даже придумала речь, какую следовало бы произнести на этом сходе. Что это за речь! Что за речь! Правда, она вряд ли осмелилась бы ее произнести, но если бы осмелилась, ну-ну! Зато когда до Гнетова дошло известие, что власти разогнали сход, «великий политик» разревелся с досады в своей комнате, разорвал платок и весь день ходил с красными глазами. Напрасно муж просил ее не «безумствовать» до такой степени. На следующий день агитация в Гнетове велась с еще большей Горячностью. Теперь пани Мария ни пред чем не отступает. В один день она успевает побывать в двадцати хатах и везде так громко бранит немцев, что мужу приходится ее останавливать. Но опасности тут нет никакой. Люди встречают ее с радостью, улыбаются ей и целуют руки, потому что она такая красивая, такая розовая, что у всякого, кто ее видит, на душе светлей. Доходит черед и до Бартековой хаты. Лыска ее не пускает, но Магда сгоряча стучает его поленом по голове.

– Ох, ясная пани! Золото мое, красавица, ягодка моя! – восклицает баба и припадает к ее руке.

Бартек согласно уговору с женой бросается пани в ноги, маленький Франек сначала целует ей руку, потом запускает палец в рот и погружается в восторженное созерцание.

– Я надеюсь, – говорит, поздоровавшись, молодая пани, – я надеюсь, Бартек, что ты будешь голосовать за моего мужа, а не за пана Шульберга.

– Зоренька моя, – восклицает Магда, – да кто же здесь станет голосовать за Шульберга, чтоб его паралич разбил! – Тут она целует у пани руку. – Не гневайтесь, моя ясная пани, но как станешь говорить о немцах, язык свой не удержишь.

– Муж мне сказал, что заплатит Юсту.

– Благослови его бог! А ты что стоишь, как пень? – обращается Магда к мужу. – Он, пани, у меня неразговорчивый.

– Так будете голосовать за моего мужа? – спрашивает пани. – Да? Вы поляки, мы поляки – будем поддерживать друг друга.

– Да я ему голову оторву, если он не будет за пана голосовать, говорит Магда. –

Ну, что ты стоишь, как пень? Уж очень он у меня неразговорчивый. Да ну, пошевеливайся!

Бартек снова целует у пани ручку, но упорно молчит и мрачнеет, как ночь. В мыслях у него ландрат.

\* \* \*

Наконец наступает день выборов. Пан Яжинский уверен в победе. В Гнетово съезжаются соседи. Они уже вернулись из города, уже проголосовали и теперь ждут в Гнетове известий, которые должен привезти ксендз. Потом будет званый обед, а вечером Яжинские поедут в Познань и затем в Берлин. Некоторые деревни избирательного округа голосовали еще вчера. Сегодня будут известны результаты. Настроение у всех превосходное. Молодая пани слегка возбуждена, но полна надежд. Она улыбается и принимает гостей с таким радушием, что все как один признают: пан Яжинский нашел в Царстве Польском настоящее сокровище. Правда, это сокровище не может спокойно усидеть на месте, перебегает от одного гостя к другому и заставляет каждого по сто раз повторять, что «Юзе будет избран». Но, право, она не честолюбива и не из тщеславия хочет стать женой депутата: ее юной головке пригрезилось, что ей с мужем действительно предстоит исполнить некую важную миссию. Сердечко у нее бьется совсем как под венцом, и радость озаряет красивое личико. Ловко лавируя между гостями, она подходит к мужу, тянет его за рукав и шепчет ему на ухо, как ребенок, который хочет подразнить: «Господин депутат!» Он улыбается, и оба невыразимо счастливы. Обоим хочется как следует расцеловаться, но при гостях неловко. Все поминутно поглядывают в окно, так как дело действительно серьезное. Умерший депутат был поляк, и немцы впервые в этом округе выставляют своего кандидата. По-видимому, победоносная война придала им храбрости, и именно поэтому собравшимся в гнетовской усадьбе так важно, чтоб был выбран их кандидат. Еще до обеда гремят патриотические речи. Молодая пани к ним не привыкла, поэтому они ее особенно волнуют. Минутами ее охватывает беспокойство: а что, если при подсчете голосов устроят какое-нибудь мошенничество? Но ведь в комитете заседают не только немцы? Старшие гости объясняют пани, как производится подсчет голосов. Она слышала это уже сотни раз, но хочет услышать еще. Ах, ведь сейчас решается, будет иметь население в парламенте защитника или врага! Это скоро станет известно, даже очень скоро, так как на дороге вдруг подымается облако пыли. «Ксендз едет! Ксендз едет!» – повторяют присутствующие. Пани бледнеет. Все заметно взволнованны. Несмотря на уверенность в победе, последняя минута заставляет сильнее биться сердца. Но нет, это не ксендз, это приказчик приехал верхом из города. Может быть, он что-нибудь знает? Вот он привязывает лошадь и быстро идет к дому. Гости с хозяйкой во главе выбегают на крыльцо.

– Есть известия? Есть? Выбран наш пан? Что? Да поди сюда! Ты наверно знаешь? Результаты объявлены?

Вопросы сыплются градом, мужик бросает шапку в воздух.

– Наш пан выбран!

Пани опускается на скамейку и прижимает руку к трепещущей груди.

– Виват! Виват! – кричат соседи. – Виват!

Из кухни высыпает прислуга.

– Виват! Немцы побиты! Да здравствует депутат! И пани депутатша!

– А ксендз? – спрашивает кто-то.

– Сейчас приедет, – отвечает приказчик, – последние голоса подсчитывают...

– Подавайте обед! – кричит пан депутат.

– Виват! – повторяют соседи.

Все возвращаются в залу. Теперь гости уже спокойно поздравляют пана и пани, только сама пани не может сдержать свою радость и на глазах у всех бросается мужу на шею. Однако никто не видит в этом ничего предосудительного, напротив, все растроганы.

– Ну, живем еще! – говорит сосед из Убогова.

Между тем у крыльца раздается стук экипажа, и в залу входит ксендз, а за ним старый Мацей из Гнетова.

– Ждем, ждем вас! – кричат собравшиеся. – Ну, каким большинством?

Ксендз с минуту молчит и вдруг словно в лицо этой всеобщей радости бросает резко и коротко два слова:

– Избран... Шульберг.

Минута изумления, град тревожных, торопливых вопросов, на которые ксендз снова отвечает:

– Избран Шульберг!

– Но как? Что случилось? Каким образом? Приказчик ведь говорил совсем другое. Что же случилось?

В эту минуту пан Яжинский выводит из залы бедную пани Марию, которая кусает платок, чтоб не разрыдаться или не упасть в обморок.

– Какое несчастье! Вот несчастье! – повторяют гости.

Вдруг с другого конца деревни доносится какой-то неясный гомон, как будто возгласы радости. Это гнетовские немцы торжествуют свою победу.

Супруги Яжинские снова возвращаются в залу. Слышно, как молодой пан в дверях говорит пани: «Il faut faire bonne mine»[26]. Но молодая пани уже не плачет. Глаза у нее сухи, только лицо пылает.

– Расскажите же, как все это случилось? – спокойно спрашивает хозяин.

– Да как же, милостивый пан, этому было не случиться, – говорит старый Мацей, – если здешние гнетовские мужики голосовали за Шульберга.

– Кто же?

– Как? Здешние?

– А то как же! Я сам видел, да и все видели, как Бартек Словик голосовал за Шульберга...

– Бартек Словик? – переспрашивает пани.

– А то как же! Теперь-то его все ругают, баба его ругает, а мужик катается по земле, плачет. Но я сам видел, как он голосовал...

– Такого из деревни надо гнать! – говорит сосед из Убогова.

– Да ведь все, милостивый пан, – говорит Мацей, – все, кто был на войне, голосовали, как он. Говорят, будто им приказали...

– Злоупотребление! Форменное злоупотребление! Неправильные выборы! Насилие! Мошенничество! – слышатся возмущенные голоса.

Невеселый обед был в тот день в гнетовской усадьбе.

Вечером пан и пани уехали, но уже не в Берлин, а в Дрезден.

Между тем Бартек сидел в своей хате, несчастный, проклинаемый и отверженный всеми, – даже для собственной жены он был теперь чужим, и она за целый день не сказала ему ни слова.

\* \* \*

Осенью бог дал урожай, и пан Юст, получивший землю Бартека, радовался выгодному дельцу.

Спустя несколько дней по дороге из Гнетова шли три человека: мужик, баба и ребенок. Мужик согнулся и был больше похож на старика нищего, чем на здорового мужчину. Шли они в город, потому что в Гнетове не могли найти работу. Лил дождь. Баба выла в голос с тоски по своей хате и родной деревне. Мужик молчал. Дорога была пустынна: ни телеги, ни человека, только крест простирал над ней свои промокшие от дождя руки. Дождь шел все сильнее. Смеркалось.

Бартек, Магда и Франек шли в город, так как герою Гравелотта и Седана предстояло еще сидеть зимой в тюрьме по делу Беге.

Пан и пани Яжинские все еще гостили в Дрездене.

1882

Примечания

1 Ах, так, хорошо (нем.).

2 Человек (нем.).

3 Военный суд (нем.).

4 Ах ты, глупая польская скотина! Я тебе, олуху, набью морду так, что из пасти только осколки зубов полетят! (нем.).

- 5 Польский бык! Бык из Подолии! (нем.).
- 6 Наш (нем.).
- 7 Поляки, поляки! (нем.).
- 8 Молчать, польские скоты! (нем.).
- 9 Смирно, ты там! (нем.).
- 10 Вторая строка польского национального гимна «Еще Польша не погибла».
- 11 Ах ты проклятый поляк! (нем.).
- 12 Слишком глуп, ваше превосходительство! (нем.).
- 13 Немец (нем.).
- 14 Здесь: вот еще (нем.).
- 15 Войну (нем.).
- 16 Левой, правой! Сено! Солома! (нем.).
- 17 Стой! (нем.).
- 18 Что? (нем.).
- 19 Дайте есть! (франц.).
- 20 Доброе утро, малец! (нем.).
- 21 Pitié – жалость, сострадание (франц.).
- 22 Дайте хлеба! (франц.).
- 23 Тихо, ты там! Сено, солома! (нем.).
- 24 Пей, пей пей,  
Пока в моем кармане  
Звенит еще хоть талер! (нем.).
- 25 Ты, польская скотина (нем.).
- 26 Нужно делать хорошую мину (франц.).